

САД ПО ТУ СТОРОНУ СТРАХА, ИЛИ КОГДА ХИЩНИК СТАНОВИТСЯ САДОВНИКОМ

Константин Г. Волкодав



*The Garden Beyond Fear: When Predators
Become Gardeners*

(Russian edition)

Konstantin G. Volkodav

Константин Волкодав

**Сад по ту сторону страха,
или Когда хищник
становится садовником**

«Автор»

2026

Волкодав К. Г.

Сад по ту сторону страха, или Когда хищник становится садовником / К. Г. Волкодав — «Автор», 2026

Что, если главная проблема человечества — не нехватка ресурсов, не несовершенство политических систем и даже не искусственный интеллект, а страх, который веками был единственным способом управлять людьми? Почему цивилизации снова и снова воспроизводят войны, неравенство и подчинение, называя это порядком, безопасностью и прогрессом? Можно ли создать общество, в котором человеку выгоднее созидать, чем извлекать, выгоднее заботиться, чем доминировать? «Сад по ту сторону страха» — это философский роман-притча о власти и доверии, о природе человеческой свободы и о том, возможен ли переход от мира, построенного на страхе, к миру, основанному на заботе. Это книга не столько о будущем, сколько о выборе, который каждый из нас делает уже сейчас. Здесь исследуется самый опасный вопрос нашего времени: можно ли изменить не человека, а сами правила игры? Здесь хищник учится быть садовником. Здесь политика уступает место нравственной философии, а протопия перестаёт быть призраком будущего.

© Волкодав К. Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие Ирины Чмырёвой. Оптика преобразования	5
Предисловие Сергея Беспалова. Инженерный проект цивилизации: почему этот роман больше, чем просто литература	7
От автора	9
Введение	11
Пролог. Сквозь звёздное зеркало, или О том, как легко покинуть планету и как трудно покинуть страх	13
ЧАСТЬ I. МАСКАРАД СТАРОГО МИРА	14
Глава 1. Парад натянутых улыбок, или Как изображать счастье по приказу	14
Глава 2. Кошмары героев, или Бремя истории, которое человек носит вместо совести	16
Глава 3. Среди полок вечности, или Где история наконец-то учится смирению	18
Глава 4. Великая трапеза в Грановитой палате, или Дерзкое предложение Империи Счастья	23
4.1. Цена одной стены, или Последний ужин старой Европы	23
4.2. Теология суверенитета и «святость» робота	28
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Константин Волкодав

Сад по ту сторону страха, или Когда хищник становится садовником

Предисловие Ирины Чмырёвой. Оптика преобразования

История человеческой цивилизации — это во многом история фортификации. Мы привыкли оценивать исторические эпохи по монументальности их стен, по жёсткости контуров, по тому, как агрессивно человек отвоёвывал пространство у хаоса. Вся наша коллективная визуальная память заполнена образами доспехов, крепостных валов и триумфальных арок, прославляющих триумф Хищника. Наше зрение веками тренировали распознавать силу исключительно через оптику подчинения и контроля. Культура взгляда оказалась травмирована этой привычкой к доминированию, которую мы по какому-то недоразумению продолжаем называть «реализмом».

И именно поэтому роман Константина Волкодава «Сад по ту сторону страха» воспринимается не просто как яркое литературное событие, но как радикальная, тектоническая смена цивилизационной оптики.

Автор совершает то, что под силу лишь художнику с абсолютным чувством композиции и глубоким пониманием архитектоники смыслов: он берёт привычные, застывшие рамки нашей реальности и разворачивает их к свету. Это книга-зеркало, но зеркало особенное — оно не просто пассивно фиксирует экзистенциальные тупики современности, оно выстраивает новую, прорывную перспективу.

Как исследователь визуальной культуры, я давно привыкла к мысли, что человек видит не только глазами. Он видит привычками. Он видит историей. Он видит тем языком, который ему доступен. И иногда для того, чтобы заметить очевидное, требуется не новый факт, а новая форма взгляда.

Литература обладает этим редким свойством. Она способна не просто рассказывать о мире, но перенастраивать внутреннюю оптику читателя. Перед нами именно такой случай.

Эта книга возникла на пересечении нескольких, казалось бы, далёких традиций: философского романа, политической притчи, интеллектуальной драмы и культурного эссе. Но в действительности её жанр определить труднее. Потому что её задача выходит за пределы жанра.

Она предлагает читателю не столько сюжет, сколько опыт переосмысления. В эпоху, когда общественное пространство переполнено быстрыми реакциями, упрощёнными объяснениями и тревожным шумом, сама попытка думать медленно, последовательно и масштабно становится актом культурного сопротивления.

Эта книга требует именно такого чтения. Она обращается к способности человека удерживать сложность. Не искать немедленного ответа. Не соглашаться на готовые схемы. Не путать привычное с неизбежным. Это особенно важно сегодня, когда дефицитом становится не информация, а воображение.

Мы переживаем время, в котором человечество научилось фиксировать мир с беспрецедентной точностью — документировать, измерять, архивировать, сохранять. Но одновременно всё чаще утрачивает способность представить, каким этот мир мог бы быть иным.

Между тем всякая подлинная перемена начинается именно там. С нового образа. С иной метафоры. С неожиданной возможности увидеть привычный порядок как нечто не окончательное.

Именно поэтому художественные образы иногда оказываются сильнее политических программ. Они действуют глубже. Они работают с тем внутренним пространством человека, где прежде всяких реформ рождается согласие — или отказ — жить иначе.

Книга «Сад по ту сторону страха» возвращает читателю это пространство. Она напоминает, что интеллектуальная литература всё ещё может быть смелой. Что серьёзная мысль может быть увлекательной. Что философия способна существовать не только в трактатах, но и в живом дыхании романа.

Я не могу не отметить, с каким изяществом и строгостью автор работает со светотенью человеческой природы. Мир «старого порядка», подробно препарированный на страницах романа, предстаёт перед читателем как грандиозный, но глубоко фальшивый маскарад. Это безупречно зафиксированная эстетика контролируемого хаоса, где каждый образ — от натянутой улыбки до теологии суверенитета роботов — разоблачает скрытый, парализующий страх системы.

Однако истинная ценность этого романа-эксперимента лежит за пределами деконструкции старых мифов. Сила книги — в создании принципиально новой иконографии будущего. Образ Сада, проходящий сквозь весь текст, — это не пасторальная пассивная утопия. Это сложнейшая, динамичная модель живого пространства, противопоставленная мёртвой геометрии стен.

Садовник в этой системе координат — не фигура слабости или сентиментального эскапизма. Это носитель высшей формы интеллектуальной и эстетической зрелости. Чтобы вырастить сад, требуется совершенно иной взгляд — длинный, терпеливый, способный видеть композицию целиком, за пределами собственной мимолётной жизни. Автор предлагает человечеству изменить фокусное расстояние: перестать всматриваться в мир через прицел оружия и научиться кадрировать реальность через категории доверия и созидания.

Перед нами — не просто философская проза в лучших традициях интеллектуального парадокса. Это кураторский проект обновлённого сознания. Текст романа обладает поразительной, почти осязаемой пластикой, заставляя читателя не просто следить за сюжетом, но сопереживать изменению самого визуального кода человечности.

В эпоху, когда мир снова пытается закрыться в тесных клетках взаимного подозрения, этот роман совершает важнейший гуманитарный жест — он возвращает нам мужество надежды. Эту книгу невозможно не открыть, потому что это редкий шанс скорректировать собственную оптику и увидеть, что Новая Полиция — это не далёкий горизонт, а выбор, который делается прямо сейчас.

Я убеждена, что «Сад по ту сторону страха» — это книга, которая будет иметь долгую и значимую жизнь. Она принадлежит к тому немногочисленному ряду произведений, которые не просто описывают кризис современной цивилизации, но и предлагают путь к её глубокому, подлинному преображению.

Ирина Чмырёва,

Кандидат искусствоведения,

Ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительного искусства Российской академии художеств,

Арт-директор Международного фестиваля фотографии PhotoVisa

Предисловие Сергея Беспалова. Инженерный проект цивилизации: почему этот роман больше, чем просто литература

Существует множество книг, обещающих объяснить мир. Гораздо меньше тех, которые пытаются предложить ему новое направление. И совсем редки произведения, которые осмеливаются предложить миру новое направление, поставив под сомнение не отдельные политические ошибки, не экономические модели и даже не идеологические системы, а саму скрытую психологическую архитектуру цивилизации. Роман «Сад по ту сторону страха, или Когда хищник становится садовником», который вы держите в руках, принадлежит именно к этой последней, почти исчезнувшей категории. Это действительно редкое, самобытное явление в современной литературе — удивительно умная и глубокая философская проза, написанная в едином, безупречно выдержанном стиле.

Читатель наверняка заметит, насколько кинематографична и пластична ткань этого повествования. И в этом кроется его первая интрига: перед нами тот необычный случай, когда большая литература рождается из сценария фильма, меняя привычную траекторию культурного обмена. Однако там, где современная индустрия развлечений привычно предлагает зрителю иллюзии, этот стилистически богатый текст предлагает глубокую пищу для ума.

Мы живём в эпоху смыслового истощения и пресыщения развлечениями. Ежегодно в мире появляются тысячи новых сюжетов, но парадокс в том, что новых смыслов среди них практически нет. Девяносто девять процентов современных историй — это, по сути, один и тот же нарратив, меняющий лишь внешние декорации. Проще всего это пояснить метафорой калейдоскопа: вращая его, мы видим бесчисленное множество удивительных, оригинальных узоров. Но всё это разнообразие создаётся лишь десятком цветных стёклышек, отражающихся от двух-трёх зеркал. Культура перенасыщена романами и зрелищами без содержания — бесконечными погонями, драками и перестрелками, отрицающими законы логики и физики ради мимолётного укола адреналина. Это еда, состоящая из одних только пряностей, от которой общество давно уже чувствует духовную тошноту.

Данный роман — полная противоположность этой суете. Внешний экшен здесь умышленно уступает место ошеломляющему количеству внутренних, интеллектуальных событий. Плотность смыслов в тексте настолько высока, что её с избытком хватило бы на десяток самостоятельных произведений. Автор виртуозно и изящно совмещает тонкие парадоксы с масштабной политико-философской аллегорией и элементами альтернативной истории. По сути, перед нами блестящий компендиум истории цивилизации, макроэкономики, психологии власти и социальных отношений, облечённый в форму лёгкого, динамичного и увлекательного чтения.

На первый взгляд, перед нами альтернативная история позднего двадцатого века. Это условный 1989 год, рубеж эпох, где эстетика увядающей Холодной войны парадоксально наложена на цифровые трибуны будущего — искусственный интеллект, блокчейн-платформы и вирусные медиа. Но истинный предмет исследования автора лежит гораздо ближе к человеческому сердцу. Текст буквально изобилует тонкими, врезающимися в память метафорами и сильными, чеканными афоризмами, превращающими каждую главу в захватывающее интеллектуальное приключение. Это философская притча о страхе. О страхе как древнейшем инструменте управления. О страхе как невидимой, но самой ходовой валюте мировой политики. О страхе как внутреннем фундаменте целых государств.

Автор не просто рассказывает историю. Он проводит тончайшее вскрытие: почему человечество на протяжении тысячелетий предпочитало строить свои государства, армии, рынки

и законы вокруг одного циничного и, увы, удобного предположения — человек по природе своей хищник, незрел и потому нуждается в постоянном внешнем принуждении и крепких стенах. Мы привыкли считать тотальную конкуренцию неизбежной, войны — естественными, а эксплуатацию ближнего — антропологической данностью.

Но что, если это не закон природы, а лишь затянущаяся историческая привычка? Что, если подлинное величие цивилизации начинается именно там, где заканчивается культ страха?

В этом дерзком вопросе и заключена интеллектуальная смелость книги. Но самое поразительное — автор предлагает нам не очередную оторванную от реальности утопию и не пламенный революционный памфлет. Перед нами, если угодно, ненавязчивый, но математически точный инженерный проект цивилизации всеобщего блага и процветания. Это мысленный эксперимент планетарного масштаба: попытка доказать, что в долгосрочной перспективе хищнику действительно выгоднее отложить стилет и взять в руки лейку.

Особую, почти гипнотическую силу роману придаёт избранная форма. Это философский роман в лучших европейских традициях, где утончённое эстетство встречается со структурой, достойной «Диалогов» Платона. Серьёзные теологические и философские идеи здесь раскрываются через живые, объёмные характеры, изысканную иронию и парадоксальные диалоги. Автор не диктует мораль и не навязывает готовых ответов — он приглашает читателя в пространство личного, экзистенциального выбора.

И, возможно, именно это сегодня важнее всего. Мы застряли в цивилизационном тупике, где технический прогресс катастрофически опередил нравственный. Человечество уже научилось переписывать коды мироздания и создавать искусственный разум, но всё ещё не способно совладать со своими древними палеолитическими инстинктами. Мы умеем стирать с лица земли города, но пока так и не научились благоустраивать сады общего блага.

Эта книга — суровое, но полное надежды напоминание о том, что подлинная эволюция начинается не с обновления программного обеспечения, а с переосмысления того, что мы привыкли считать неизбежным.

Возможно, однажды историки скажут, что именно с таких текстов начинались большие тектонические сдвиги в сознании людей. И если это так, то перед вами не просто роман. Перед вами рекомендательное письмо для нашей цивилизации и прямое приглашение к нравственному взрослению.

Добро пожаловать в сад по ту сторону страха.

Сергей Беспалов

кинопродюсер и сопредседатель компании «Aldamisa Entertainment»¹

¹ Сергей Беспалов — кинопродюсер с обширным опытом работы в киноиндустрии, включая операционную деятельность, структурирование, ведение переговоров и производство многочисленных фильмов. Эти фильмы завоевали более 65 международных наград и получили более 85 номинаций на различные премии, в том числе две номинации на «Оскар» и одну номинацию на «Эмми». <https://www.imdb.com/name/nm3703488/>

От автора

Искусство, увы, слишком часто совершает одну и ту же ошибку: оно благоговееет перед календарями. Между тем хронология — самый недостойный способ мерить человеческую драму. Единственная история, заслуживающая внимания, — это история наших заблуждений, а они, как известно, не стареют и не выходят из моды.

Эта книга — не историческая реконструкция роковых дней 1989 года. Нет ничего более скучного, чем точно воспроизведённое прошлое. Перед вами притча о наложенной реальности: меланхолическая эстетика угасающей Холодной войны намеренно переплетена с холодным сиянием технологий, которых мир тогда ещё не знал. 1989 год выбран не как дата в учебнике, а как величайшая метафора — последний исторический момент, когда старый мировой порядок ещё оставался нетронутым, новые тюрьмы сознания ещё не были построены, но радикально иное будущее уже было возможно.

Пусть читатель не ищет здесь технического или исторического правдоподобия. Искусственный интеллект в Грановитой палате, блокчейн-голосование, прозрачные коды управления — всё это не анахронизм. Это зеркало нашего сегодняшнего дня, занесённое над колыбелью вчерашнего. Ведь в конце концов, единственное будущее, которое нас по-настоящему волнует, — это то, которое мы уже успели испортить.

Мы живём в эпоху «великого упрощения». Информация стала мгновенной, но смыслы — исчезающе тонкими. Человек XXI века, воспитанный на алгоритмах быстрых дофаминовых склеек и бесконечного визуального шума, парадоксальным образом испытывает почти болезненную жажду большой, чистой идеи. Наш мир, зажатый в тиски перманентных кризисов, больше не удовлетворяется простыми ответами. Мы подошли к той черте, за которой старые механизмы управления — страх, долг и внешнее принуждение — перестают удерживать цивилизацию от распада.

Эта книга родилась из одного простого, но настойчивого вопроса: почему человечество, достигнув столь поразительных высот в науке и технике, по-прежнему считает войны, тотальную конкуренцию и эксплуатацию почти антропологической данностью? Мы научились в деталях представлять конец света — полки книжных магазинов ломаются от мрачных антиутопий. Но мы разучились представлять его достойное продолжение.

Поэтому я попытался создать Протопию (protopia) — не сладкую утопию, оторванную от жизни, а реалистичный, прагматичный чертёж будущего, в котором действительно хочется жить. В основе лежит концепция, которую я называю «Духовным иммунитетом». Это радикально новый взгляд на безопасность. Настоящая защищённость цивилизации — это не высота заборов и не количество ракет, а качество «внутреннего хребта» каждого отдельного гражданина. Четыре триллиона долларов, которые человечество ежегодно тратит на свой «налог на страх» — на армии, границы и спецслужбы, — это колоссальный ресурс, который может и должен быть инвестирован в развитие человеческого сознания. Это не наивная мечта о «хороших людях». Это рациональный инженерный расчёт выживания нашего вида в условиях запредельной технической мощи.

Мне хотелось исследовать эти тектонические смыслы не в форме сухого политического трактата и не в виде дидактического эссе. Аргументы и цифры редко меняют сердце человека. А вот истории иногда способны это сделать.

Поэтому здесь сложнейшие вопросы — демонтаж военно-промышленных комплексов, психология власти и этика аскезы — превращаются в живое драматическое событие. Идеи в романе обретают плоть. Мировоззрения сталкиваются за дипломатическими столами, где каждое слово — это уже не просто звук, а удар по фундаменту старого мира.

На страницах романа мы вводим термин «Новая Полития». Это название отсылает нас к греческому термину *πολιτεία* — идеальному государственному устройству, где большинство правит в интересах общей пользы, превращая политику в общее созидание и осознанный образ жизни.

Здесь же возникает одна из центральных метафор книги — метафора хищника. Важно сразу оговорить: это слово употребляется не в биологическом, а в нравственно-социальном смысле. Хищник в природе не является моральным преступником. Волк, лиса, сова или ястреб не виноваты в том, что живут согласно своей природе. Более того, в живой экосистеме они часто служат равновесию: регулируют численность, устраняют больное, не позволяют одному виду разрушить среду без меры. Природный хищник не стоит вне порядка жизни; он является частью этого порядка.

Иное дело — хищник в человеческом обществе. Здесь речь идёт уже не о животном инстинкте, а о разуме, воле и стратегии, направленных на присвоение чужой жизни. Такой хищник опасен не тем, что он силен, умён или энергичен. Сила сама по себе не порок, ум сам по себе не вина, энергия сама по себе не преступление. Опасность начинается там, где ум соединяется с бесстыдством, воля освобождается от меры, а энергия находит удовольствие в превращении другого человека, общества или самой планеты в ресурс для собственного возвышения. Поэтому слово «хищник» в этой книге обозначает не природную функцию, а человеческую деформацию: сознательную, стратегическую и разрушительную форму отношения к миру.

Эта книга не делит человечество на породу Хищников и породу Садовников. Речь идёт о двух способах отношения к миру, которые могут бороться в одном человеке и проявляться в одном институте. С одной стороны, преступник способен отказаться от хищнической стратегии и начать выращивать жизнь. С другой стороны, судья, полицейский, тюремный служащий, предприниматель, политик или реформатор тоже может стать хищником, если начнёт превращать предоставленную ему силу в средство присвоения и унижения. Поэтому переход от Хищника к Садовнику адресован не отдельной касте виновных, а всякому человеку и всякой системе, обладающим властью над чужой жизнью.

В этом романе некоторые персонажи до последнего защищают старый порядок, основанный на страхе. Другие — пытаются разжать эту пружину. Я постарался отнестись с уважением ко всем сторонам этого спора. Ведь те, кто оправдывает старую систему (такие как лорд Хэлсворт или доктор Виремонт), часто делают это не из врождённой злобы, а из искреннего, глубокого страха перед хаосом. И, возможно, главная мысль книги заключается именно в этом: человечеству предстоит победить не внешнего врага, а собственную тысячелетнюю привычку считать страх своим единственным защитником.

Если после прочтения этой книги читатель хотя бы на мгновение допустит мысль, что иной общественный порядок действительно возможен, значит, она была написана не напрасно. Этот роман не предлагает готовых универсальных рецептов и не навязывает догм. Он лишь приоткрывает ворота в сад по ту сторону страха. Но принять решение и сделать первый шаг читателю предстоит самостоятельно.

Введение

*Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь*
А. С. Пушкин, «Элегия» (1830)

Человек удивительно изобретателен. Он научился извлекать сокрушительную энергию из атомного ядра, передавать живой голос через бездну океанов, делать микрочипы из кремния и отправлять автоматические станции к окраинам Солнечной системы. Но среди всех его грандиозных триумфов кроется одно поразительное, почти катастрофическое упущение.

Он так и не научился жить без страха.

Более того, он сделал страх несущим каркасом, операционной системой всей своей цивилизации. Государства испокон веков строились на страхе перед внешним врагом. Экономики — на страхе искусственно созданного дефицита. Социальные институты — на страхе сурового наказания. Наша личная повседневность — на страхе неминуемой утраты. Мы настолько глубоко вросли в это устройство мира, что перестали его замечать. Страх стал прозрачным, как воздух. А всё невидимое труднее всего подвергнуть сомнению.

Нам кажется священным «реализмом» то, что нации обязаны вечно соперничать, военно-промышленные комплексы — процветать, элиты — концентрировать власть, а большинство — ожесточённо бороться за ограниченные ресурсы. Но что, если этот хваленый реализм — всего лишь затянувшаяся, дурно пахнущая историческая привычка? Клетка, которую мы приняли за дом?

Роман, который открывается перед вами, предлагает совершить дерзкий мысленный шаг за пределы этой привычки. Не для того, чтобы сбежать в прекрасную утопию. И не для того, чтобы отрицать трагическое несовершенство человеческой природы. А для того, чтобы развернуть масштабный антропологический эксперимент и задать самый зрелый вопрос нашей эпохи: что будет, если хищник действительно решит отложить оружие и возьмёт в руки садовую лейку?

Чтобы этот разговор состоялся честно, автору пришлось изменить правила игры и сломать привычную хронологию. Читатель сразу заметит, что ткань этого романа соткана из намеченных, глубоко осознанных анахронизмов. Действие начинается в условном 1989 году — в декорациях поздней Холодной войны. Однако внутри этого аналогового мира уже пульсируют технологии завтрашнего дня.

Это не историческая реконструкция, ибо нет ничего скучнее буквального воспроизведения прошлого. Это притча о наложенной реальности. Конец двадцатого века выбран здесь как мощнейшая метафора — последний исторический момент, когда старый мировой порядок ещё казался незыблемым, но великая развилка истории оставалась открытой и человечество могло выбрать радикально иной путь. Этот роман свободно смешивает эпохи и технологии, чтобы заставить декорации служить Идее. Прошлое здесь — лишь сцена, на которой мы обсуждаем предельные кризисы и упущенные возможности нашего сегодняшнего дня.

В центре повествования — концептуальный вызов, брошенный всей истории эгоизма и насилия. Генеральный секретарь угасающей сверхдержавы Иван Васильевич Семипалин, мудрый правитель с душой философа, предлагает лидерам расколота Германии небывалую сделку. Вместо банального поглощения одной страны другой — создать единую Евразийскую «Империю Счастья». Её экономический фундамент прост и шокирующе прагматичен: изъять четыре триллиона долларов, которые планета ежегодно сжигает в топке взаимного запугивания, и перенаправить этот колоссальный «налог на страх» на фундаментальное развитие человеческого сознания.

Семипалин выдвигает концепцию «Духовного иммунитета». Это не сентиментальная мечта о «хороших людях», а жёсткий, математический расчёт выживания нашего вида. В условиях, когда техническое могущество цивилизации стало запредельным, единственной работающей технологией безопасности становится не высота пограничных стен и не дальность полёта носителей ядерного оружия, а качество «внутреннего хребта» каждого отдельного гражданина.

Но старый мир обладает колоссальной инерцией, и свободу никто не отдаёт без боя. Великий гуманистический манифест Семипалина мгновенно запускает в действие безжалостную «драматическую машину» политического триллера. Против проекта «Новой Политии» объединяется теневая архитектура глобального контроля — истинные жрецы культа страха, которые искренне убеждены, что спасают цивилизацию от анархии.

Перед читателем разворачивается смертоносная игра на трёх фронтах, где протагонисту противостоит зловещий интеллектуальный треугольник:

Лорд Эдриан Хэлсворт — холодный, циничный гроссмейстер геополитического реализма, свято верящий, что люди — это хаос, удерживаемый в узде только нуждой и ужасом перед силой.

Доктор Малкольм Х. Виремонт — серый кардинал Вашингтона, защищающий Рах Америсана, трансатлантические рынки и долларовую систему от «хакера», пытающегося взломать операционную систему планеты.

Михаил Орлов — председатель КГБ, внутренний предатель и прагматик, готовый запустить тайную операцию «Старичок» с применением секретного яда, чтобы встроить страну в существующую мировую иерархию вместо того, чтобы менять её.

Ставки в этом противостоянии абсолютны. Если Семипалин и его союзники проиграют — мир вернётся в привычную колею ядерной эскалации, финансовых долгов и бесконечных локальных войн. Ему предстоит не просто произносить речи с трибун, а переиграть профессиональных интриганов на их собственном поле, доказав, что созидательный потенциал свободных людей сильнее, чем вековые институты насилия.

Это битва двух антропологических концепций, замаскированная под шпионский заговор. Философский поединок, упакованный в динамичный ритм, где длинные планы глубоких платоновских диалогов внезапно взрываются клиповым монтажом провокаций, диверсий и информационных войн.

Это роман о том, как сталкиваются две «литосферные плиты» человечества: хищнический и эгоистичный слой антропологии против творческого и возрождающего потенциала горизонтальных связей между свободными людьми. Никогда ещё Западная цивилизация не жила в неиерархическом обществе — это результат постмодерна, и это многое меняет.

Это не утопия. Это протопия — реалистичный, прагматичный чертёж будущего, в котором хочется жить. Добро пожаловать в пространство, где страх наконец перестаёт быть единственным архитектором человеческой истории.

Пролог. Сквозь звёздное зеркало, или О том, как легко покинуть планету и как трудно покинуть страх

В безмолвном космосе, где даже свет кажется задумчивым, плыл корабль-ракетоплан, похожий на советский космический челнок «Буран». Он не вёз ни одного человека — только человеческое любопытство, заключённое в сталь и кремний: единственное качество, которое наша цивилизация ещё умеет отправлять в неизвестность без оружия.

Советские учёные, запустившие аппарат, называли его «зондом вежливости». Он должен был лишь посмотреть, снять и вернуться, не вмешиваясь. Но Вселенная редко уважает чужие протоколы.

В один из тех моментов, когда время решает пошутить, корабль провалился сквозь пространственно-временную складку (звёздное зеркало). Не было ни взрыва, ни драматического всплеска — только лёгкое, почти как головокружение искажение света, словно кто-то на мгновение сдвинул занавеску между мирами. И вот уже квадрокоптеры с телекамерами устремились к неизвестной планете, удивительно похожей на нашу Землю.

С высоты, где человеческие страсти превращаются в едва заметные искры, камера скользила над огромным городом. Там, в этом другом мире, всё было... иначе. Просто иначе. И в этой иной возможности, в этом тихом намёке на то, чем могло бы стать человечество, крылась вся горечь и вся надежда.

Все совпадения лиц, имён и исторических обстоятельств, разумеется, совершенно случайны. Реальность всегда предпочитает считать себя единственным возможным вариантом. И всё же...

Камера медленно опустилась. И то, что она увидела, оказалось мучительно знакомым.

Мы смотрели на Землю-2. Земля-2 смотрела на нас. Это был мир, где время совершило причудливый, почти фантастический пируэт. Оптика советского зонда фиксировала ландшафт, бывший одновременно и прошлым, и будущим. Это был условный 1989 год — с его серым сукном министерских кабинетов, вкусным мороженым «Пломбир» и парадными мундирами Холодной войны. Но внутри этой угасающей аналоговой вселенной уже пульсировали цифровые нервы следующего века. Высокие чины КГБ и лондонские лорды спорили, глядя в экраны планшетов, а решения на площадях принимались через алгоритмы искусственного интеллекта и блокчейн-сети. В этой параллельной реальности человечество умудрилось совершить технологический прыжок, не решив ни одного морального уравнения. Будущее наступило на сорок лет раньше, но принесло с собой всё те же старые страхи.

Рассказчик — тот самый спокойный, чуть ироничный голос, который будет сопровождать нас до самого конца, — произнёс почти шёпотом:

«Человек научился покидать притяжение Земли задолго до того, как научился покидать притяжение собственных страхов. Это, пожалуй, самое изящное и самое печальное из всех его достижений».

И в этой взаимной тишине, между двумя мирами, повис вопрос, который и станет главным нервом всей нашей истории:

Что, если человечество уже достаточно повзрослело, чтобы отказаться от старой пьесы страха? И что, если единственное, что удерживает нас в этой пьесе, — не страх, а привычка считать его своей природой?

Мир был создан не для того, чтобы сражаться, а для того, чтобы сажать сады. Всё остальное — лишь досадное недоразумение, затянувшееся на тысячелетия

ЧАСТЬ I. МАСКАРАД СТАРОГО МИРА

Глава 1. Парад натянутых улыбок, или Как изображать счастье по приказу

Существуют государства, которые требуют от человека многого: его труда, его времени, его верности. Но лишь самые честолобивые из них требуют ещё и его выражения лица. Улыбка, как известно, принадлежит к числу тех редких человеческих жестов, которые теряют всякое достоинство в ту минуту, когда становятся обязанностью.

В то майское утро 1989 года Красная площадь сияла. Она сияла не столько весной, сколько старанием. Флаги колыхались с механической убеждённости, которой ткань иногда превосходит человека. Медные трубы военного оркестра блестели так, словно солнце, не вполне доверяя происходящему, решило участвовать хотя бы отражением. Огромные портреты вождей смотрели на толпу с тем особым выражением бессмертия, которое свойственно только официальной живописи.

Толпа двигалась плавно, почти торжественно. Слишком торжественно. Лица были спокойны. Улыбки — аккуратны. Жесты — выверены. Каждый знал, где ему следует остановиться, когда поднять руку, когда аплодировать, когда изображать радость.

В переулке у самой площади офицер КГБ муштровал колонну рабочих и школьников, выстраивая их, как солдат перед парадом.

— Улыбайтесь шире, товарищи! — рычал он, потев в шинели. — Изобразите счастливый советский народ! Представьте, что вам джинсы с кроссовками выдали!

Один из рабочих, мужчина лет пятидесяти с мозолистыми руками, пробормотал себе под нос, едва шевеля губами:

— Счастье... это когда не надо улыбаться по приказу, а можно по-настоящему.

Рядом стоял школьник лет двенадцати с красным флажком. Он пытался улыбнуться, но выходила лишь жалкая гримаса.

— Я улыбаюсь, — шепнул он соседу по колонне, — а во рту пломба вылетела. Что теперь, тоже праздник?

Офицер ткнул пальцем в сторону мальчика:

— Не так! Улыбка, как в рекламе зубной пасты, а не как у кота перед ветеринаром!

На самой площади толпа проходила мимо трибуны Мавзолея, выкрикивая лозунги. Глаза людей выдавали тоску, флаги махали вяло, усиливая атмосферу фальши.

С трибуны за всем этим наблюдал Генсек Иван Семипалин. Рядом стоял Премьер-министр Геннадий Сергеевич, поправляя галстук.

— Ну что, Иван Васильевич? — произнёс Премьер с преувеличенным пафосом. — Видите, как они идут? Это не парад, это симфония труда и радости!

Семипалин смотрел вниз. Его лицо оставалось спокойным, но голос звучал почти по-заговорщицки, не для чужих ушей:

— Улыбки ртами, Геннадий Сергеевич. А глаза... глаза как у загнанных лошадей. Мы революцию делали, чтобы люди меньше работали, больше радовались. А они всё так же несчастны, как в царские времена. Суета, а радости нет... Они играют роли счастливых людей. Это не лица, а маски. Где их души? Они улыбаются, но глаза кричат о помощи...

Премьер наклонился ближе и добавил с саркастической ноткой, почти шёпотом:

— Так они же работать не любят! Вот и не нравится им Праздник Труда. Представьте: восемь часов на заводе, а потом — «ура, труд!» Это как праздновать зубную боль...

Семипалин ответил тихо, почти для себя:

— Труд должен быть радостью, а не пыткой. Революция должна была освободить человека, а мы получили новых рабов...

Внизу, в толпе, тот самый рабочий всё ещё бормотал под нос:

— Счастье? Это когда парад закончился и можно домой к телевизору.

Красная площадь продолжала сиять. Оркестр гремел. Флаги реяли. А в воздухе висело то особенное напряжение, которое возникает, когда тысячи людей одновременно понимают, что они участвуют в спектакле, в который давно перестали верить. Иногда мужество начинается не с отказа подчиняться. Иногда оно начинается с того, что человек впервые замечает, как именно он подчиняется.

Глава 2. Кошмары героев, или Бремя истории, которое человек носит вместо совести

Существуют воспоминания, которые человек хранит как награды. И существуют другие — те, что хранят его.

Иван Васильевич Семипалин плохо спал уже много лет. С возрастом сон становится особенно требовательным собеседником: он приходит лишь к тем, кто способен вынести встречу с самим собой. За окнами его кремлёвской квартиры Москва постепенно теряла дневную официальность. Город снимал с себя парадный мундир. Исчезали лозунги. Гасли прожекторы. Редели автомобильные огни. Даже Кремль, этот древний театр власти, ночью казался менее уверенным в собственном бессмертии. Лишь человек оставался пленником тех декораций, которые носил внутри.

Семипалин сидел в кресле у окна, не раздеваясь. Галстук был ослаблен, пиджак лежал на спинке стула. На столике рядом остывал чай, к которому он так и не прикоснулся. Некоторые привычки — например, ставить рядом чашку горячего чая в надежде, что она сможет согреть мысли, — переживают даже самые глубокие идеологические разочарования.

В комнате было тихо. Только старые часы на стене отсчитывали время с той деликатной настойчивостью, с какой история напоминает человеку, что отсрочка и спасение — вещи совершенно разные. Перед ним лежала небольшая стопка бумаг: доклады, записки, закрытые аналитические обзоры. Статистика, которая уже давно перестала быть просто цифрами и превратилась в приговор.

Он закрыл глаза. И сон пришёл — не как отдых, а как обвинитель.

Сначала возник Гомер. Ахиллес на поле боя, где слава и смерть шли рука об руку, словно два старых товарища. Одиссей, сражающийся с морем и собственной судьбой. Гектор, защищающий то, что обречено. Счастье, которое всегда требовало крови и всегда оказывалось слишком дорогой ценой. Затем история сменила декорации, но не сюжет.

Либерия — бывшие рабы становятся рабовладельцами. 1917-й год — матросы, обещающие «власть народу», и пулемётные очереди по той самой толпе, что только что кричала «ура». Сталин на трибуне, произносящий «счастье для всех» с таким выражением, будто счастье — это тоже государственный план, который нужно выполнить любой ценой. НКВД, шаги конвоира по коридору, Соловецкий лагерь — серые стены, где даже воздух был пропитан страхом.

А потом — восьмидесятые. Толпа с лозунгами «Перестройка!» Пустые полки магазинов. Женщины, несущие огромные рулоны туалетной бумаги, перекинутае через плечо, словно пулемётные ленты. Всё это выглядело почти комично, если бы не было так безнадёжно.

Голос в его собственном сне звучал эхом, как приговор: «Частная выгода от деструкции... Элиты манипулируют в своих интересах... Война — это отчуждение, разруха... Освободители становятся новыми тюремщиками... Обещают рай, а строят клетку — вечный цикл обмана... Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно... Мы боролись с тиранией, а стали новыми тиранами».

Семипалин резко сел в постели. Холодный пот покрывал лицо. Он включил лампу. Свет упал на его руки — сильные, но уже отмеченные возрастом. Он долго смотрел на них, словно видел в них всю историю страны. «Мы хотели построить лучший мир», — произнёс он тихо в пустоту комнаты.

Никто не ответил. Но иногда молчание бывает самым суровым историком.

Он встал, подошёл к окну. Москва начинала просыпаться. Трамваи. Дворники. Холодный воздух. Жизнь продолжала вести себя так, будто человечество уже давно понимает, что делает.

И вдруг Семипалин ясно почувствовал то, чего не позволял себе многие годы: не вину. Не страх. Надежду. Очень осторожную. Почти неприличную.

Может быть, думал он, зрелость цивилизации начинается не тогда, когда она побеждает своих врагов. А тогда, когда впервые осмеливается усомниться в собственных оправданиях. Эта мысль испугала его больше любого кошмара. И потому он понял: она, вероятно, была правдой.

Иногда судьба выбирает для своих важнейших встреч самые тихие помещения. Семипалин взял телефон и набрал номер помощника.

— Организуйте мне частную работу в Российской государственной библиотеке по ночам, когда там никого нет. Полный доступ. И найдите мне самого опытного библиотекаря-консультанта. Профессора на пенсии. Того, кто понимает, что мудрость не всегда совпадает с официальной линией.

Он положил трубку. Впервые за долгое время почувствовал не тяжесть прошлого, а едва заметное движение будущего. Оно ещё не имело формы. Не имело имени. Но уже начинало говорить. Тихо. Как правда.

Глава 3. Среди полок вечности, или Где история наконец-то учится смирению

Время — этот неблаговоспитанный гость, который в приличном обществе вечно куда-то торопится, — в библиотечных залах обретает наконец изысканные манеры. Здесь оно не течёт, а медленно оседает на каменные ступени и резное дерево полок, подобно золотистой пылице на крыльях бабочек, которых никто не пытается поймать, ибо ловля бабочек — слишком суетное занятие для тех, кто постиг тщету человеческих убеждений.

Книжные хранилища существуют не для того, чтобы нас чему-то учить; они слишком горды для этого. Они лишь терпеливо ждут, когда человек достаточно разочаруется в своих громких триумфах, чтобы начать искать истину. Архивы существуют не для того, чтобы помнить прошлое, а для того, чтобы напоминать настоящему о его собственной хрупкости.

Около полуночи Иван Васильевич Семипалин перешагнул порог Российской государственной библиотеки. За тяжёлыми дверями осталась Москва — эта нервная, стареющая кокетка, которая никак не могла определиться, праздновать ли ей вчерашний парад на Красной площади или погрузиться в банальную бессонницу ночных высоток под гул множества машин. Здесь же, под сводами, воздух дышал совсем иным манифестом. Он пах старой бумагой, пчелиным воском, благородной кожей переплётов и тем едва уловимым ароматом вечности, который приобретают вещи, имевшие неосторожность пережить своих авторов.

История, увы, редко учит людей мудрости. Чаще она лишь с грустной улыбкой наблюдает, как новые поколения с поразительным упорством повторяют старые глупости, но каждый раз — с гораздо более важным выражением лица. Бесконечное повторение былых ошибок мы почему-то упорно именуем политическим опытом, не замечая, что наши самые громкие сегодняшние кризисы — лишь запоздалое эхо чьих-то древних заблуждений.

Человек по своей наивности любит верить, будто это он создаёт идеи. В действительности же всё обстоит с точностью до наоборот: идеи терпеливо пересаживают человеческую суету за кулисами истории, точно престарелые актёры, ожидающие, когда публика наконец устанет от скучных современных декораций. Память человечества устроена удивительно: оно бережно хранит свои победы и с особой тщательностью забывает цену, которую за них заплатило.

Семипалин медленно шёл между бесконечными стеллажами. Мягкий свет выхватывал из темноты ровные шеренги томов, и это шествие казалось прогулкой по залу суда, где свидетели давно лишились голоса, но продолжают свой безмолвный, яростный спор. Платон и Аристотель, Конфуций и Лао-цзы, Макиавелли и Руссо, Франкл и Роджерс — все они застыли здесь, каждый со своим безупречным приговором человечеству и абсолютно невыносимым рецептом всеобщего счастья. И каждый, разумеется, оказался прав лишь наполовину, ибо природа человека такова, что он способен осквернить даже самую блестящую утопию одним лишь своим прикосновением. Цивилизации гибнут не тогда, когда ошибаются. Они гибнут тогда, когда начинают считать свои ошибки традицией.

Тишина в огромном зале была почти осязаемой, её можно было бы резать ножом, если бы в библиотеках позволялось пользоваться чем-то более острым, чем ум. Последние посетители давно разошлись, и лишь зелёные абажуры ламп бросали изумрудные круги света на ряды древних фолиантов. Проводником Семипалина был старый библиотекарь, чьи движения сохраняли удивительную грацию — грацию человека, который слишком долго общался с вечностью, чтобы суетиться, и слишком хорошо изучил человеческую глупость, чтобы ей удивляться. Они скользили мимо многоярусных деревянных стеллажей XIX века, где покоились драгоценные рукописи, папирусы и пергаментные свитки, вобравшие в себя весь путь от шумерских глиняных табличек до последних научных амбиций.

История — это, пожалуй, самый нестыльный роман из всех когда-либо написанных, поскольку его авторы упорно путают хронологию своих грехов с прогрессом. Библиотеки прекрасны тем, что мёртвые императоры ведут себя на их полках несравнимо приличнее живых политиков: они хотя бы молчат, позволяя нам наслаждаться их изящным смирением перед вечностью.

— Здесь хранится мудрость веков, Иван Васильевич, — произнёс библиотекарь едва слышным шёпотом. — Всё, что человечество узнало о себе и о мире.

Семипалин печально провёл пальцами по кожаным корешкам и улыбнулся — грустно и иронично.

— И, тем не менее, мы с неизменным упорством повторяем одни и те же ошибки. История — это бесконечное повторение одних и тех же человеческих ошибок, а подлинная мудрость заключается в понимании того, что наши сегодняшние кризисы — лишь отголоски древних заблуждений.

Они остановились у огромного стола из массива красного дерева, который выглядел так, словно на нем только что произошла катастрофа умов. Он был завален великими книгами: «Илиада» Гомера, «Государство» Платона, Библия, открытая на меланхолических страницах Экклезиаста, труды Франкла, Фромма, Хайдеггера и Карла Роджерса. Библиотекарь опустился на стул напротив, одарив высокого гостя лукавой, чуть ироничной улыбкой.

— Итак, чем может быть полезен скромный хранитель кладбища мыслей столь высокопоставленному посетителю?

Семипалин посмотрел ему прямо в глаза, отбросив светские условности:

— Давайте поговорим откровенно, без посторонних ушей. Обещаю, что за правду вас не накажут, хотя в нашей стране это звучит как самая двусмысленная из угроз. Меня терзают смутные сомнения, которые не дают спать по ночам. Никита Сергеевич Хрущёв с трибуны твёрдо обещал нам построить коммунизм к 1980 году. На дворе уже 1989-й, а коммунизма нет даже на горизонте. На каком именно этапе произошёл поворот не туда?

Старик иронично усмехнулся, и в его глазах блеснул опасный огонёк:

— Мой дорогой Иван Васильевич, мы сбились с пути на самом первом шаге, и с тех пор этот манёвр стал нашим главным достижением. Линия партии всегда безупречно прямая, а поскольку вторая производная этой прямой равна нулю, в каждой её точке мы с математической точностью обнаруживаем то, что у нас принято называть «перегибом». Но чтобы понять, почему рукотворный рай в принципе невозможно построить методами репрессий, принуждения и тотального контроля, стоит обратиться к подлинной истории. История — великолепный учитель, но у неё трагически мало учеников. Иосиф Виссарионович Сталин, судя по всему, безнадёжно прогуливал уроки истории в Духовной Семинарии.

Он сделал театральную паузу, позволяя Семипалину прочувствовать всю тонкость момента, а затем продолжил:

— Дело в том, что идеальное коммунистическое государство уже существовало в семнадцатом и восемнадцатом веках. Я говорю о государстве иезуитов в Парагвае. Это была чистейшая, я бы сказал, лабораторная работа по созданию Эдема на земле. Обратите, отцы-иезуиты возводили свой рай не на колючей проволоке, а на нежной отеческой опеке и строжайшем распорядке. Они искренне считали индейцев гуарани очаровательными детьми, которых необходимо оградить от пороков белого мира. Сто пятьдесят лет абсолютной социальной гармонии! Ни войн, ни голода, ни частной собственности — этой вечной виновницы всех человеческих драм. Каждый индеец был сыт, одет, обучен и совершенно защищён.

Семипалин взял со стола старинную гравюру, долго вглядываясь в строгие, геометрически выверенные линии поселений:

— Иезуитские редукции... Но почему этот безупречный часовой механизм в конце концов сломался?

Библиотекарь кивнул, словно драматург, чей зритель наконец догадался, в чем интрига:

— Потому что они пытались вырастить святых с помощью дрессировки и следования расписанию. Жизнь в редукциях была расписана по минутам: коллективная молитва, обязательный труд, санкционированный отдых. У индейцев не было причин красть, ибо всё было общим и распределялось по потребностям. У них не было причин убивать, поскольку конкуренцию за ресурсы упразднили. Это была стерильная добродетель. Всякая добродетель, которую не выбрали свободно, не пережили и органически не усвоили, — это не мораль, а дрессировка. Добродетель, навязанная извне, — это лишь очень чистая и прекрасно декорированная клетка. Но даже самая комфортная клетка остаётся клеткой, как ни золоти её прутья.

— Главная трагедия иезуитов заключалась в том, что они забыли сделать гуарани самостоятельными субъектами морали. У этих людей не было внутреннего этического стержня; они оставались ведомыми. Это была великолепная дрессировка — мягкая, христианская, исполненная любви, но всё же дрессировка. И когда в 1767 году иезуитов изгнали из испанских владений, вся эта колоссальная архитектура рухнула в считанные годы.

— Индейцы не смогли защитить свои дома, не удержали экономику и вернулись к прежнему укладу. Почему? Потому что их праведность была не внутренним качеством, а внешним корсетом, который поддерживал их лишь до тех пор, пока портной стоял рядом.

Семипалин медленно откинулся на спинку стула, обдумывая услышанное. В его глазах мелькнуло понимание, тяжёлое, как камень, который наконец-то лёг на место.

— Значит, любая система, уповающая на внешнее управление — будь то страх ГУЛАГа или благочестивый надзор Церкви — обречена на историческое банкротство?

— Именно! — подтвердил старик с неожиданной страстью. — Посмотрите на Запад. Их путь — это финансовый и юридический намордник. Великобритания веками оттачивала искусство внешнего контроля, искусно манипулируя низменными инстинктами и срамливая людей друг с другом. Им не нужен осознанный человек; им требуется предсказуемый потребитель или, в крайнем случае, хорошо управляемый фанатик. Любое «идеальное государство», строящее свою власть на внешних стимулах — будь то иезуиты, коммунисты, будущие цифровые алгоритмы Китая, западные банкиры или удушающая паутина законов — в долгосрочной перспективе обречено на крах. Если ваша добродетель — результат дрессировки, вы остаётесь социальным животным, пусть и с безупречными светскими манерами. Но если добродетель — это плод свободного выбора, вашей собственной внутренней экзистенциальной интенции, вы наконец становитесь подлинной личностью.

— Но какова альтернатива? — спросил Семипалин.

— Альтернатива — это путь, который правительства почти никогда не выбирают, поскольку он требует слишком много времени и не гарантирует немедленного подчинения. Это создание среды для духовного взросления человека. Для этого необходимы три вещи. Во-первых, экономическая свобода: чтобы человек не крал ради куска хлеба, он должен иметь возможность честно заработать достаточно для комфортной и достойной жизни. Во-вторых, образование совести: государству должно быть выгодно воспитывать ответственного и сознательного гражданина, а не послушного подданного, умеющего лишь блять в унисон с генеральной линией. И, в-третьих, личный пример элиты: никакие тотальные системы слежки и камеры распознавания лиц не заставят народ быть честным, если те, кто сидит на вершине власти, безнаказанно воруют триллионы. Иезуиты в Парагвае доказали: можно на время избавить общество от преступлений, но невозможно сделать это навсегда, если люди не примут добровольное решение не совершать преступлений — без надзора и без внешнего принуждения.

Семипалин кивнул, чувствуя, как привычные догмы трещат по швам:

— Это глубоко, но слишком лаконично для того, чтобы переписать учебники. Нам придётся углубиться в философию и антропологию.

Библиотекарь тонко улыбнулся:

— Дилемма о том, как уравновесить свободу и порядок, не превратив страну в казарму, мучает философов со времён Платона. Полная несвобода превращает человека в послушный механизм. Государство, которое управляет человеком через страх или внешние ограничения, в конечном итоге управляет лишь телами, а не душами. Абсолютная свобода в мире несовершенных существ неизбежно превращает общество в джунгли. В философии это называется «дилеммой Гоббса»: либо вечная война всех против всех, либо Левиафан тоталитарного государства, подчиняющий себе каждого ради всеобщего спокойствия. Но существует и третий путь — пусть он и требует долгой работы и колоссальных вложений. Это государство, которое фокусируется на внутреннем регуляторе. В христианской традиции и классической мысли это называется Совестью и Добродетелью. Идеальное государство — это не то, где на каждом углу стоит жандарм или висит видеокамера, а то, где человеку его собственная совесть не позволяет совершить подлость, даже когда его никто не видит и заведомо не накажет.

— Настоящая зрелость цивилизации измеряется вовсе не тем, как изящно и хитроумно в ней распределена власть, а исключительно тем, какие именно качества человеческой души она считает нужным вознаграждать. Человек человеку — волк или ангел? Всё зависит от системы, которая пробуждает в нём либо зверя, либо садовника.

Старик перевёл дыхание и мягко коснулся лежащих перед ним книг:

— Система, способная сберечь человеческое в человеке, должна покоиться на трёх незыблемых опорах. Во-первых, воспитание вместо дрессировки. Вместо введения социальных рейтингов акцент должен быть сделан на этическом образовании. Государству надлежит инвестировать средства не в системы распознавания лиц, а в развитие критического мышления и моральной ответственности. Цель в том, чтобы человек понимал, почему зло разрушительно для его собственной души, а не просто дрожал от страха перед наказанием.

Во-вторых, принцип малых сообществ. Тоталитаризм всегда страдает гигантоманией, ведь в огромном государстве человек неизбежно превращается в безликую песчинку. Однако древние греки справедливо видели в человеке микрокосм — малую Вселенную. В идеальной модели власть должна быть максимально децентрализована. В малом сообществе — будь то община, район или деревня — люди знают друг друга лично. Там работает не бездушный цифровой рейтинг, а живая личная репутация. Это самый естественный ограничитель порока: если ты подлец, твои соседи просто перестанут иметь с тобой дела. Это мягкая, но сокрушительная сила самой жизни, которая гораздо эффективнее любых алгоритмов.

В-третьих, должно быть право на ошибку и искупление. Идеальное государство обязано включать механизмы реабилитации. Христианская идея покаяния, переведённая на язык большой политики, — это шанс для человека исправить ошибку и вернуться в общество без пожизненного клейма отверженного.

В истории уже были робкие попытки подойти к этому идеалу. Можно вспомнить ранние греческие демократии, где участие в жизни полиса было вопросом чести, или первые религиозные общины, где общие духовные ценности успешно заменяли законы. Но в глобальном масштабе правители редко заходят так далеко: управлять людьми-«роботами» с помощью QR-кодов и камер видеонаблюдения гораздо дешевле и проще, чем воспитывать свободных и ответственных людей. И всё же свобода без морального фундамента — это изысканная форма самоубийства. Если просто позволить «всё», многие немедленно начнут делать зло. История знает периоды безвластия и анархии, и они неизменно заканчивались кровью. Поэтому единственная разумная альтернатива красным флажкам внешних запретов — это перенос этих границ внутрь человеческого сердца.

Моя мечта — это «Человекоцентричное государство», способное на такое редкое безрассудство, как доверие к собственному гражданину. Вместо тотального контроля — прозрачность самой власти. Вместо принуждения — авторитет и личный пример элит. Вместо ограничивающих флажков — образование, которое делает эти флажки ненужными. Возможно,

именно к этому должен привести нас нынешний кризис систем. Когда люди окончательно устанут от своих «цифровых ферм», они неизбежно потянутся к подлинности.

Семипалин задумчиво посмотрел на этого удивительного старика.

— А что же нужно людям для счастья?

Библиотекарь улыбнулся с той грустной и мудрой улыбкой, которая доступна лишь тем, кто прочитал слишком много книг:

— О, счастье — это самая популярная иллюзия человечества. Гомер воспевал героизм, но героизм имеет дурную привычку приводить к преждевременной смерти. Платон проектировал идеальное государство, но в итоге создал тоталитарного монстра, охраняющего покой сытых господ. Экклезиаст меланхолично утверждал, что всё вокруг — лишь суета и томление духа. Франкл умудрялся находить смысл среди кошмара концлагеря. Фромм доказывал, что любить — значит отдавать, хотя большинство предпочитает брать в кредит. Хайдеггер требовал подлинности бытия, а Роджерс свято верил, что в каждом из нас изначально заложено доброе, позитивное начало. Концепций великое множество, мой дорогой гость. Если вы ищете краткое, но блестящее руководство по этой путанице, я бы искренне рекомендовал вам книгу Константина Волкодава «Парадоксы счастья».

Семипалин кивнул, чувствуя, как внутри него кристаллизуется нечто монументальное:

— Прекрасно. Это именно то, что мне нужно.

Он остался работать за этим великолепным столом из красного дерева, утопая в море раскрытых книг. В священной тишине зала раздавался лишь шелест страниц и мерный, почти гипнотический скрип пера. В его сознании уже зрел план — дерзкий, опасный, балансирующий на грани политического безумия, но единственный, способный разорвать этот проклятый круг страха и вечного принуждения.

Уходя, библиотекарь тихо обронил у дверей:

— Мне кажется, вы нашли то, что искали, Иван Васильевич.

Семипалин поднял глаза, и в его взгляде старик увидел тот самый огонь, который фанатики принимают за истину, а мудрецы — за надежду.

— Я нашёл не ответ, мой друг. Я нашёл направление. Благодарю вас.

Он снова склонился над бумагами. Вековая пыль безмолвно опускалась на полки, словно пепел несбывшихся человеческих надежд. А в душе генерального секретаря в эти минуты медленно, но неотвратимо рождалось то, что позже назовут Новой Политией.

Глава 4. Великая трапеза в Грановитой палате, или Дерзкое предложение Империи Счастья

4.1. Цена одной стены, или Последний ужин старой Европы

Февральская Москва 1990 года жила в странном, лихорадочном предчувствии, когда старая эпоха уже не имела сил оставаться великой, а новая ещё не научилась быть благопристойной. Зимний вечер опускался на заснеженный Московский Кремль, укутывая его башни и стены пушистым, кружащимся снегом, который казался единственной новой вещью в этом средоточии вековой власти. Огни кремлёвских иллюминаций вспыхивали сквозь метель, превращая древнюю крепость в подобие сияющего ледяного дворца — величественного, неприступного и полного той холодной, парализующей напряжённости, которая всегда предшествует историческим потрясениям. Снег падал медленно, словно само время решило замедлить свой бег, давая человечеству последнюю передышку перед тем, как перевернуть страницу.

К Соборной площади, мягко шурша шинами по свежему насту, подкатил длинный, лаково-чёрный правительственный лимузин марки «Мерседес». В его безупречно начищенном капоте, на который крупными хлопьями ложились снежинки, дрожали и дробились отражения кремлёвских звёзд. Этот автомобиль выглядел здесь как молчаливый триумф западной индустрии, дерзко въехавший в самое сердце раненого социалистического исполина.

Дверца плавно отворилась, и на заснеженные плиты площади ступил канцлер Западной Германии Гельмут фон Берг. Это был высокий, подтянутый мужчина с суровой выправкой и лицом, на котором застыла холодная, непреклонная немецкая решимость. Каждое его движение дышало силой характера и уверенностью человека, привыкшего повелевать не только людьми, но и обстоятельствами. Вслед за ним из тёплого недра машины вынырнул его ближайший советник — господин с живым, ироничным лицом и хитрым, пронизательным прищуром. Он мгновенно окинул взглядом пустынную площадь, оценивая обстановку с ловкостью опытного игрока, знающего, что в политике декорации порой значат больше, чем сами актёры.

Они пошли рядом вдоль древних соборов, их тёмные силуэты чётко выделялись на фоне белого безмолвия. Камера человеческого внимания, если бы она могла зафиксировать этот момент, отметила бы поразительный контраст между суровостью канцлера и летучей, почти невесомой циничностью его спутника.

— Я готов дать им пятьдесят пять миллиардов марок, — негромко, но с железной уверенностью прошептал Гельмут фон Берг, и его дыхание превратилось в маленькое белое облачко. — Отступные, взятки, компенсации — мне всё равно, как они это назовут в своих министерствах. Главное, чтобы они согласились отдать нам ГДР. Деньги решают всё, мой дорогой друг. Они всегда всё решают, особенно когда их так много, что у противоположной стороны начинает кружиться голова.

Советник тихо усмехнулся, поплотнее запахивая воротник пальто. Его улыбка была шедевром политического реализма.

— Если они станут торговаться, дайте вдвое больше, — отозвался он с лёгкой, изящной утончённостью истинного циника. — Мы потом всё своё отобьём с лихвой — заводами, колоссальными рынками, дешёвой рабочей силой. Политическая элита никогда не беднеет от своих щедрых жестов; она просто имеет обыкновение перекладывать расходы на плечи кого-то другого, кто даже не подозревает, что за его счёт только что купили целое государство.

Деньги, как любил говаривать один пронизательный наблюдатель человеческих слабостей, действительно способны решить почти любой земной спор, но они обладают одним досадным недостатком: они совершенно бессильны перед временем, позицией и той пугающей

готовностью жертвовать всем, которая иногда просыпается в людях, когда они вдруг перестают бояться потерь.

Они приблизились к массивному проёму кремлёвских палат, откуда лился тёплый, манящий свет, и их фигуры растворились в нём, оставив позади кружащуюся метель и безмолвные свидетельства уходящего века.

Под древними сводами Грановитой палаты Московского Кремля мир мгновенно преобразился. Богатство исторического интерьера ошеломляло, но благодаря тонкому вкусу устроителей ужина, оно не подавляло, а скорее обволакивало. Пространство было затоплено мягким, живым сиянием бесчисленных свечей и массивных хрустальных люстр. Золочёная лепнина, тяжёлый алый бархат портьер, резные белоснежные колонны — всё это было призвано создать атмосферу не холодного государственного официоза, а старинного, почти домашнего радушия, за которым, впрочем, скрывался тончайший расчёт.

Длинный банкетный стол буквально ломился от изысканных яств, где кулинарные шедевры служили метафорами большой геополитики. Горки зернистой чёрной икры соседствовали с нежнейшим балыком, редкие сорта каспийской рыбы сменялись дымящимися мясными блюдами. Здесь тонко переплетались традиции русской и немецкой кухонь, словно повара пытались примирить два народа вкусовыми рецепторами до того, как это сделают дипломаты. Едва уловимо, но отчётливо звучала музыка: строгие, кристально чистые аккорды Баха и величественные пассажи Бетховена плавно, почти незаметно растворялись в щемящей, чувственной мелодике Чайковского.

За столом друг напротив друга расположились хозяева и гости. С одной стороны сидел Иван Васильевич Семипалин, чьё лицо лучилось спокойной умудрённостью, и советский Премьер; с другой — канцлер фон Берг и его неизменный ироничный советник.

— Канцлер Гельмут фон Берг! — тепло, с мягкой, почти отеческой улыбкой начал Семипалин, и его голос, лишённый всякой трибунной жёсткости, сразу задал тон беседе. — Рад приветствовать вас в самом сердце Евразии. Сегодняшний наш ужин, как я и обещал, пройдёт без утомительных формальностей и без удушающего дипломатического протокола. Мы просто старые знакомые, решившие поужинать вместе. Иногда один ужин способен остановить войну. Но только если за столом собрались люди, готовые отказаться от своей правоты.

Фон Берг, решив продемонстрировать, что широта русской души ему не чужда, взял большую серебряную ложку и с решительностью прусского генерала зачерпнул внушительную порцию чёрной икры.

В этот самый момент тяжёлая бархатная портьера в углу зала неловко колыхнулась, и из-за неё, словно актёр, опоздавший на собственный бенефис, вышел Эрих Шталь — лидер Восточной Германии. Его лицо выражало крайнюю степень смущения, смешанную с тихим отчаянием человека, который понимает, что его судьбу сейчас будут решать без его прямого участия.

— А вот и я... — неловко произнёс Шталь, переминаясь с ноги на ногу. — Меня, кажется, тоже пригласили...

Канцлер фон Берг от неожиданности замер с поднятой ложкой. Его глаза округлились, а лицо на мгновение потеряло свою безупречную дипломатическую маску.

— Ну вы это... Эрих... не раскачивайте ложку, — пробормотал канцлер, едва справляясь с дыханием. — Я чуть было не поперхнулся от вашего внезапного появления.

В зале раздался искренний, раскатистый смех Семипалина, который мгновенно разрядил возникшую неловкость.

— Да, господа, прошу простить мне этот маленький сюрприз, — улыбаясь, проговорил советский лидер. — Для нас было критически важно собрать вас всех за одним столом. Но не беспокойтесь, Гельмут. О нашей конфиденциальной встрече не узнает ни одна западная разведка — Комитет государственной безопасности умеет защищать секреты, когда речь идёт

о мире. Теперь мы как большая, хотя и немного взбалмошная семья — все сидим за одним столом, и каждый здесь желанный гость.

Шталь, всё ещё чувствуя себя немного чужим на этом празднике жизни, робко присел на предложенный стул и принялся разглядывать обилие блюд. Его взгляд потеплел, когда он наткнулся на одно из них.

— О! Мои любимые свиные ножки с квашеной капустой! И даже пахта есть! — воскликнул он с чисто детским восторгом.

— Разумеется, Эрих, — кивнул Семипалин. — У нас сегодня представлены лучшие блюда как русской, так и немецкой кухни. Мы стремились создать атмосферу подлинного домашнего круга, где между родственниками нет и не может быть никаких секретов... Ну, за исключением, пожалуй, тайного рецепта нашего борща!

Словно по команде, в зале появился шеф-повар в белоснежном колпаке, торжественно несущий в руках огромную, дымящуюся супницу, от которой исходил умопомрачительный аромат свежей зелени, чеснока и томлёного мяса.

— Борщ у нас сегодня не обычный, господа, — с гордостью объявил повар, разливая блюдо по тарелкам. — Это «Борщ единства»!

За столом дружно рассмеялись. Канцлер фон Берг, с любопытством разглядывая яркую, рубиновую жидкость в своей тарелке, поднял ложку и задумчиво спросил:

— А борщ разве не украинский?

Семипалин хитро прищурился, глядя на немецкого гостя сквозь тонкий пар, поднимавшийся от супа.

— Ну, это смотря с какой стороны тарелки смотреть, канцлер. С одной стороны — он безусловно украинский, а с другой стороны — абсолютно русский. Всё зависит от оптики и от широты вашего взгляда.

Фон Берг глубокомысленно кивнул, оценив не столько кулинарную, сколько политическую глубину ответа:

— Глубокомысленно... Очень глубокомысленно.

Музыка на мгновение стала чуть громче. Свечи оплывали, их тёплые капли падали на серебряные подсвечники, а хрусталь бокалов отражал бесконечные золотые искорки. Канцлер замер, прислушиваясь к строгим, величественным звукам, наполнявшим своды палаты.

— Бетховен, Бах... — тихо, почти с благоговением произнёс фон Берг. — Слышать нашу национальную музыку здесь, в глубине Кремля... Знаете, в этом есть что-то глубоко символичное.

— Иоганн Себастьян Бах и Людвиг Ван Бетховен, — откликнулся Семипалин, и его лицо вновь стало серьёзным. — Это ведь не просто композиторы. Это были великие мыслители, которые своими симфониями и фугами отчаянно пытались достучаться до будущего человечества. А их будущее, господа, — это мы с вами, сидящие в этом зале. Услышали ли мы их великий посыл? Поняли ли мы, о чём они умоляли нас сквозь века? Вот именно об этом я и предлагаю поговорить. Пусть наша сегодняшняя трапеза станет подлинно философской — в духе тех обедов, что устраивал великий Иммануил Кант. Вы ведь помните, что Кант обожал философствовать именно за столом? На его знаменитых обедах в Кёнигсберге гости, забыв о чинах, яростно спорили о природе человека, о бессмертии души и о том, что такое истинное счастье. Давайте и мы последуем его примеру.

Советский Премьер, сидевший чуть поодаль, иронично подмигнул немецкому канцлеру:

— Кант, как известно, чрезвычайно любил точность и пунктуальность. Но мы, пожалуй, опоздали с подобными диалогами как минимум на пару веков.

Фон Берг слегка растерялся от такого обилия метафизики среди тарелок с икрой:

— Эээ... Кант? Эммануил? Наш немецкий Кант?

— Да, — мягко улыбнулся Семипалин. — Но он в равной степени и ваш, и наш. Великий немецкий философ, который, как повернулась история, принёс присягу Российской империи и скончался, будучи её подданным в городе Кёнигсберге — ныне нашем Калининграде. Впрочем, если взглянуть вглубь истории, немцы всегда присутствовали в России. Наши цари веками состояли в теснейшем родстве с Гогенцоллернами. Взять хотя бы Екатерину Великую — чистокровная немецкая принцесса София Ангальт-Цербстская, которая правила Россией тридцать четыре года! И ведь именно её царствование по праву называют «золотым веком» Российской империи. Она приглашала своих соотечественников селиться на наших землях, даруя им колоссальные льготы и привилегии. Благодаря этому около тридцати тысяч немцев основали цветущие колонии на Волге. А к концу девятнадцатого века в Российской империи проживало уже более двух миллионов человек, для которых немецкий язык был родным. Наш последний император Николай Второй и ваш кайзер Вильгельм Второй были двоюродными братьями, звали друг друга «Ники» и «Вилли» в личной переписке...

Семипалин замолчал, и его взгляд стал тяжёлым, наполненным подлинной исторической скорбью.

— Наши народы связаны такой плотной пуповиной крови, культуры и общей истории, что разорвать её невозможно. Мы похожи друг на друга гораздо сильнее, чем нам кажется в моменты геополитических кризисов. Так почему же родственники с таким упорством и жестокостью воюют друг с другом? В семьях, конечно, случаются безобразные драки, но ведь все мы понимаем, что это глубокая патология, это ненормально. Глупые и ограниченные люди хватаются за оружие и дерутся, а умные и зрелые — садятся за стол и договариваются.

Эрих Шталь, до этого молча изучавший свою тарелку, горько усмехнулся:

— Семья — это вообще чертовски сложная штука. Особенно когда старшие братья пытаются тебя усыновить против твоей воли.

На зал на мгновение опустилась плотная, осязаемая тишина. Свечи бросали длинные тени на фрески стен, и казалось, что лики древних правителей внимательно вглядываются в лица сидящих, ожидая их решения.

— Вот именно поэтому мы с вами и собрались здесь, — уверенно и твёрдо разбил тишину Семипалин. — Чтобы раз и навсегда разорвать этот порочный, кровавый круг, в котором Европа крутится последние столетия.

Напряжение, висевшее в воздухе, окончательно спало. Хорошее выдержанное вино сделало своё дело — языки развязались, маски официальной настороженности были отброшены. Мужчины дружно заулыбались и потянулись к бокалам. Хрустальный звон покотился под сводами палаты.

— Берлинскую стену, — торжественно и с глубоким чувством произнёс Семипалин, поднимая свой бокал, — можно демонтировать за несколько недель с помощью отбойных молотков и бульдозеров. Стены рушатся гораздо быстрее, чем страх, который их построил. Но как нам демонтировать ту невидимую, железобетонную стену страха и недоверия, которую десятилетиями возводили в головах наших людей? Давайте же выпьем за новую, единую Европу, где больше никогда не будут грохотать пушки, а будет звучать только великая музыка! За то, чтобы наши народы отныне и вовеки встречались не на раскалённых фронтах, а за такими прекрасными, мирными столами!

Гельмут фон Берг поднял свой бокал, на его губах играла осторожная, но вполне искренняя улыбка:

— Это поразительно красивые слова, Иван Васильевич. Да будет так. Против такой музыки трудно возразить.

— Да здравствует дипломатия через изысканную закуску! — весело провозгласил Семипалин, пригубив вино.

— Вы шутите, — вдруг резко, с затаённой обидой перебил его Эрих Шталь, и его пальцы судорожно сжали ножку бокала. — Вам легко шутить и сыпать афоризмами. А я вырос и прожил всю жизнь там, где даже самая невинная, искренняя улыбка на улице казалась сотрудникам госбезопасности подозрительной и требующей немедленной проверки.

Семипалин мгновенно посерьёзnel. Он поставил бокал и посмотрел прямо в глаза восточногерманскому лидеру взглядом, полным глубокого сострадания и понимания.

— Вы абсолютно правы, Эрих. Вы правы, и мне нечего возразить в оправдание прошлого. Мы — я имею в виду наше государство — совершили колоссальное количество трагических, непоправимых ошибок. Мы многое, слишком многое делали в корне неправильно, калеча людские судьбы ради абстрактных догм. Но именно потому, что мы так страшно и горько ошибались, я сейчас и хочу изменить абсолютно всё. Мы хотим построить принципиально новую страну и новый мир — мир, где за политические анекдоты людей будут не сажать в лагеря, а цитировать с самых высоких государственных трибун.

В Грановитой палате вновь воцарилась тишина, но это была уже не тишина страха, а тишина глубокого потрясения. Даже Шталь, приготовившийся к долгой и бесплодной полемике, не нашёл слов перед этой обезоруживающей искренностью советского лидера.

Канцлер фон Берг, чувствуя, что атмосфера становится излишне драматичной, поспешил вернуть её в русло светской беседы. Он добродушно рассмеялся, расслабленно откидываясь на спинку стула:

— Ну, в таком случае, господин Генеральный секретарь, за такое прекрасное и весёлое будущее я готов без колебаний выпить ещё один бокал этого превосходного вина!

Они снова скрестили бокалы, и этот звук показался присутствующим предвестием какого-то нового, неведомого, но чистого аккорда истории.

— Знаменитый Эрих Фромм в своей великой книге задал человечеству фундаментальный вопрос: «Иметь или быть?», — продолжал Семипалин, когда первый глоток вина согрел присутствующих.

— Вся наша прежняя история была безумной, кровавой гонкой за право «иметь» — иметь территории, иметь колонии, иметь ракеты, иметь чужие ресурсы. Однако нельзя построить справедливое общество, если успех в нём по-прежнему измеряется степенью чужой зависимости. Там, где благополучие одного требует подчинения другого, прогресс лишь меняет одежду, но не нрав. Но мы обязаны совершить эволюционный рывок и построить принципиально иную цивилизацию — цивилизацию «быть». Цивилизацию, где ценность человека и государства измеряется его внутренним наполнением, его творческим и духовным бытием, а не количеством накопленного хлама и оружия. Цивилизация взрослеет именно в тот миг, когда начинает считать совесть такой же необходимой инфраструктурой, как дороги, больницы и законы. До этого она лишь искусно благоустраивает собственное детство.

Фон Берг посмотрел на Семипалина с неподдельным, растущим интересом. В его взгляде прагматика впервые промелькнуло что-то похожее на интеллектуальное восхищение.

— Вы поразительно точно и к месту цитируете западных философов, Иван Васильевич, — заметил канцлер, покачивая вино в бокале. — Признаться, чрезвычайно удивительно слышать подобные глубокие выкладки от лидера Советского Союза. Ваша прежняя государственная пропаганда, уж простите мне мою откровенность, была куда грубее, топорнее и оперировала совершенно иными, скучными терминами.

Семипалин тонко усмехнулся, и в его глазах заиграли весёлые искорки:

— А разве подлинная философия, мой дорогой канцлер, когда-нибудь являлась чьей-то частной или корпоративной собственностью? У настоящей мудрости, как и у настоящей красоты, нет и не может быть национальной прописки или партийного билета. Философия — она ведь как воздух, которым мы все дышим: им пользуются абсолютно все, но никто на свете не способен запереть его в свой личный сейф и объявить своей собственностью.

Человек, как показывает вся долгая и не слишком весёлая история нашего вида, редко бывает столь изобретателен и красноречив, как в те минуты, когда он лихорадочно ищет благородное, высокопарное оправдание своим старым, укоренившимся страхам. Политика давно и весьма успешно научилась надевать на себя строгую маску общественной нравственности; к глубочайшему несчастью, сама нравственность до сих пор так и не овладела тонким искусством отвечать политике взаимностью, из-за чего их союз всегда выглядит как брак по расчёту между престарелым мошенником и наивной бесприданницей.

Трапеза продолжалась, но под древними сводами Кремля уже явственно ощущалось невидимое присутствие будущего, которое медленно, но неотвратимо вступало в свои права, превращая вчерашние незыблемые догмы в прах.

4.2. Теология суверенитета и «святость» работа

На массивной стене палаты, словно живой, пульсирующий гобелен человеческого тщеславия, раскинулась колоссальная интерактивная карта Евразии. Она не имела ничего общего с унылыми бумажными листами, по которым генералы прошлого чертили свои победы; это было высокотехнологичное зеркало континента, где красные флажки вспыхивали подобно каплям свежей крови, золотые стрелы чертили траектории будущих триумфов, а сияющие точки городов мерцали, как драгоценные камни на мантии императора. Рядом возвышался огромный экран-кинотеатр, готовый в любую секунду превратить сухие цифры в осязаемые образы.

Иван Васильевич Семипалин медленно поднялся со своего места. В его осанке, когда он приблизился к этому сияющему алтарю геополитики, сквозило спокойствие человека, который держит в руках не просто судьбы народов, но сами нити истории. Свет карты мягко отразился в его глазах, придавая его взгляду метафизическую глубину.

— Вся история нашей многострадальной Евразии, господа, — начал Семипалин, и его голос зазвучал тихо, почти доверительно, словно он делился семейным секретом, — это бесконечная, утомительная череда сменяющих друг друга империй. История Евразии — это меню, где каждое блюдо приготовлено из крови, а счёт всегда приносят не тем, кто ел. Александр Македонский пытался обнять мир оружием и юношеским восторгом; Рим выстроил безупречную юридическую клетку; Византия одухотворила её святостью, а Германская империя возвела в культ уже саму себя, сделав порядок высшей добродетелью, а солдатскую пряжку — символом веры. В нашей новой, более циничной истории нацисты, нисколько не сомневаясь в своём праве, объявили себя наследниками Священной Римской империи и создали Третий Рейх. Сталин, в свою очередь, воздвиг монументальный Советский Союз, в то время как троцкисты безумствовали в попытках раздуть пожар мировой революции. Но у всех этих грандиозных эскизов был один и тот же неискоренимый изъян: они писались исключительно густыми чернилами человеческой крови, а все дивиденды от этих кровавых драм всегда доставались лишь ничтожно малой, пресыщенной группе элит.

Семипалин на мгновение замолчал, обводя гостей долгим, пронизательным взглядом. Затем его голос обрёл торжественную, почти пророческую силу:

— Но что, если мы проявим подлинную дерзость? Что, если мы создадим империю совершенно иного порядка — империю, где счастье перестанет быть извращённой привилегией избранных, а станет естественным, неотъемлемым правом каждого человека, столь же доступным и незаметным, как воздух, которым мы дышим? Мы стоим на пороге величайшей возможности. Мы можем стать первыми правителями в истории, которых человечество запомнит не за изощрённость их войн, а за безупречность их мира.

Он повернулся к карте, и по её поверхности пробежала волна золотого света.

— Взгляните сюда. От Лиссабона до Владивостока — единое, неделимое пространство. Свободные, прозрачные границы, общие грандиозные дороги, единая великая энергетика,

неисчерпаемые ресурсы Сибири и безупречная логистика Европы. Это не поле извечного боя, господ, это великий мост цивилизаций. Я предлагаю превратить пространство от Атлантики до Тихого океана из вечно кровоточащего фронта в цветущий, ухоженный сад. Текущий 1990 год обязан стать величайшим поворотом в мировой истории. И поверьте мне, наша «Империя счастья» — это вовсе не благодушная утопия скучающего философа, это жестокая, бескомпромиссная необходимость.

Канцлер Гельмут фон Берг подошёл ближе к карте. На его безупречном лице отразился глубокий скепсис человека, привыкшего доверять только банковским отчётам и твёрдым гарантиям. Он слегка прищурился, глядя на сияющие золотые нити, опутавшие континент.

— Всё это звучит бесконечно поэтично, Иван Васильевич, — произнёс канцлер с тонкой, едва заметной иронией. — Но скажите мне, прагматику: а зачем нам всё это? Нас, западных немцев, и так весьма недурно кормят. Наша экономика процветает, а кроме того, как вам прекрасно известно, у нас имеется весьма могущественный заокеанский покровитель. Соединённые Штаты полностью обеспечивают нашу безопасность, и, признаться, в этом стратегическом союзе мы чувствуем себя более чем комфортно. Стоит ли менять осязаемый комфорт на туманные геополитические пейзажи?

Семипалин спокойно улыбнулся, но в этой улыбке промелькнула стальная жёсткость.

— Не будьте столь трогательно наивны, дорогой Гельмут, — отозвался он, и в его интонациях зазвучали лекционные нотки умудрённого профессора. — Вам ли, лидеру капиталистического государства, не знать, что в мире свободного рынка никто и никогда не совершает поступков ради чистого удовольствия чужого процветания. При капитализме каждый игрок преследует исключительно собственную, холодную выгоду. Знаменитый План Маршалла, который ваша пресса привыкла преподносить как акт святой, бескорыстной филантропии, на самом деле являлся шедевром циничного бизнеса с продуманным на десятилетия вперёд планом возврата инвестиций.

На огромном экране за спиной Семипалина вспыхнули архивные кадры: разрушенная послевоенная Европа, дымящиеся американские заводы, сложные графики и переплетающиеся золотые линии торговых потоков.

— Давайте снимем эти красивые покровы, — продолжал Семипалин, указывая на подсвеченные цифры. — Во-первых, от семидесяти до восьмидесяти процентов всех денег, выделенных Европе по Плану Маршалла, по строгому условию договора должны были тратиться на закупку товаров, произведённых исключительно в самих Соединённых Штатах. Это грандиозное вливание буквально спасло американскую экономику от неизбежной и страшной послевоенной рецессии. Во-вторых, вся европейская инфраструктура была коварно и навсегда «перепрошита» под американские технические, технологические и финансовые стандарты, что в конечном итоге и сделало доллар безальтернативной мировой валютой. И в-третьих, что самое печальное, взамен за экономическое процветание страны Западной Европы фактически и добровольно делегировали свою национальную безопасность Вашингтону через механизмы НАТО. Вы обменяли свой суверенитет на полные прилавки и стали, по сути, респектабельными заложниками.

Голос Семипалина стал тише, приобретая характер предостережения:

— Со временем — и поверьте, это время не за горами — ваш заокеанский благодетель неизбежно сбросит эту утомительную маску бескорыстия и начнёт диктовать вам свою непреклонную волю. Соединённые Штаты одержимы идеей глобальной монополии, их цель — сделать вас тотально зависимыми от своей воли. Как только этот капкан захлопнется, они безжалостно выключат этот красивый, сытый «демо-режим» и потребуют от вас абсолютной политической лояльности в обмен на сохранение доступа к своему рынку. Это классический, банальный сценарий превращения любезного инвестора в безжалостного коллектора. Главная цель Плана Маршалла была сугубо политической: сделать так, чтобы у изголодавшихся жите-

лей Франции, Италии или Германии даже в мыслях не возникло проголосовать за левые партии или повернуться в сторону Москвы. Эта изящная «золотая цепь» кредитов оказалась в тысячи раз эффективнее и долговечнее любых советских танков.

Семипалин сделал шаг навстречу канцлеру, заглядывая ему прямо в глаза:

— Но сегодня я предлагаю вам уникальный исторический шанс — разбить эти золотые оковы, избавиться от удушающей зависимости и обрести подлинный, великий суверенитет. Осмелюсь напомнить вам ваши собственные слова, которые вы неосторожно обронили в узком кругу: «Если Европа хочет остаться независимым, подлинным центром мировой цивилизации, её будущее неизбежно должно быть связано с Россией. Мы естественным образом дополняем друг друга». Так почему же вы сейчас малодушно отступаете перед собственным пророчеством?

Гельмут фон Берг задумчиво опустил взгляд. Его пальцы нервно коснулись дорогого сукна пиджака.

— М-да... — негромко произнёс он. — Ваши аргументы бьют без промаха, Иван Васильевич. Но вы не принимаете в расчёт одно обстоятельство: Соединённые Штаты и Великобритания никогда не допустят такого сценария. Они сделают всё, задействуют все свои колоссальные ресурсы, чтобы не допустить нашего сближения.

— Вот видите, Гельмут, — с грустной, торжествующей улыбкой подхватил Семипалин. — Вы только что сами, во всеуслышание, признались в том, что ваша великая Германия полностью утратила свой суверенитет. Вы боитесь окрика из-за океана.

Канцлер заметно смутился, на его щеках выступил лёгкий румянец. Такой поворот беседы явно выходил за рамки подготовленных его советниками тезисов.

— Признаться, я не ожидал от нашей встречи столь радикального метафизического разворота, — сухо проговорил фон Берг. — Я приехал сюда ради вполне конкретного, земного дела — обсудить условия объединения разорванной Германии. И ради этого я привёз с собой вполне осязаемое предложение. Моё правительство готово выплатить Советскому Союзу колоссальные отступные — пятьдесят пять миллиардов чистокровных западногерманских марок. Это честная, щедрая компенсация за все ваши послевоенные вложения в инфраструктуру ГДР.

Услышав это, Эрих Шталь резко вскочил со своего места. Его лицо исказилось от глубокой обиды и искреннего возмущения.

— И вы произносите это здесь, в моём присутствии?! — закричал он, переводя яростный взгляд с канцлера на Семипалина. — Вы торгуетесь за нашей спиной, даже не дав себе труда спросить согласия у самого народа ГДР! Политики любят говорить о свободе народов в те минуты, когда торгуются об их цене! Вы делите нас, немцев Востока, словно аппетитный пирог на дипломатическом фуршете! Но мы — не пирог, мы — живое, истекающее кровью тело единой нации, которое вы сорок лет назад безжалостно разрезали пополам без малейшего наркоза, а теперь хотите перепродать, как подержанный автомобиль!

Семипалин мягким, примиряющим жестом заставил Шталя опуститься обратно в кресло.

— Успокойтесь, Эрих, прошу вас, — спокойно проговорил советский лидер. — Я обязан напомнить господину канцлеру, что Советский Союз с самого сорок пятого года неизменно и последовательно настаивал на сохранении единой, нейтральной и демилитаризованной Германии. И наша принципиальная позиция не претерпела никаких изменений до сегодняшнего дня. Коварная инициатива разделить вашу родину на две враждующие части целиком и полностью исходила от Рузвельта и Черчилля, которые руководствовались исключительно логикой послевоенного противостояния с СССР. Фактически именно этот насильственный раздел и стал реальным, зловещим началом Холодной войны — скрытого, уродливого геополитического соперничества между вчерашними союзниками. Но мы сейчас собрались здесь именно

для того, чтобы раз и навсегда остановить это безумное противостояние, ибо оно иссушает и губит обе наши стороны.

— И какую же альтернативу этой Холодной войне вы можете предложить, кроме красивых метафор? — с глубоким вздохом спросил Гельмут фон Берг, устремляя взгляд на карту.

Семипалин вновь указал на мерцающую стену, и изображение на ней мгновенно разделилось на два контрастных сектора.

— Перед нами, господа, лежат два принципиально разных исторических сценария, — произнёс Семипалин, и его голос приобрёл зловещую, апокалиптическую окраску. — Сценарий первый: мы оставляем всё как есть. И тогда нас неизбежно ждут бесконечные локальные войны, опустошительные эпидемии нового типа, миллионы ожесточённых мигрантов, штурмующих наши границы, тотальная разруха и международный терроризм. В этой парадигме большинство ваших знаменитых немецких заводов будут вынуждены закрыться, так как энергоресурсы — газ и электричество — станут настолько астрономически дорогими, что ваши великолепные товары мгновенно потеряют всякую конкурентоспособность на мировом рынке. Ваши политические элиты будут продолжать цинично жиреть на военных контрактах, в то время как само общество превратится в тлеющие руины. Это тупиковый путь коллективного самоуничтожения.

На экране замелькали страшные, ранящие душу кадры: уличные протесты в европейских столицах, пустые, покрытые пылью заводские цеха, бесконечные очереди изнурённых людей за куском хлеба, плачущие дети среди дымящихся руин и бесконечные потоки беженцев.

— Вся писаная история человечества, — горько продолжал Семипалин, пока камера его слов медленно обходила контуры застывших материков, — упрямо твердит нам, что так называемый мир — это всего лишь короткая, судорожная передышка между новыми, ещё более изощрёнными войнами. Но скажите мне, неужели мы обречены вечно покорно следовать этому кровавому алгоритму, если мы дерзаем именовать себя людьми разумными? Да, низменная человеческая природа глубоко порочна и склонна к конфликтам из-за ресурсов, территорий или уязвлённых амбиций. Мир на земле слишком долго поддерживался хрупким и фальшивым балансом взаимного страха, а вовсе не истинным согласием сердец. Человеческие общества обладают поразительной, преступной амнезией — они мгновенно забывают жестокие уроки прошлого. Великая война четырнадцатого года, которую велеречиво называли «войной, которая покончит со всеми войнами», в итоге лишь подготовила почву для ещё более кошмарной катастрофы сороковых.

Семипалин сделал паузу, и его лицо просветлело, словно озарённое изнутри высокой мыслью:

— Однако великие мыслители прошлого, и среди них наш общий Иммануил Кант, свято верили в метафизическую возможность установления «Вечного мира». Кант утверждал, что этот мир достижим через просвещённые, республиканские правительства и незыблемое международное право. Более того, грядущие глобальные вызовы — экологические, технологические, экзистенциальные — неизбежно заставят нас искать спасения в тотальной кооперации, а не в самоубийственной конфронтации.

Он резко повернулся к фон Бергу и Шталю, и его голос окреп, наливаясь стальной уверенностью:

— Именно поэтому я предлагаю вам принять второй, спасительный сценарий. Мы обязаны учредить на этом пространстве принципиально новое, грандиозное политическое образование — Евразийский Союз. Это единственный истинный путь к небывалому процветанию и подлинному, нерушиму миру. Истинная безопасность строится не на внешних барьерах, а на внутренней зрелости. Тратить триллионы долларов на защиту от соседей — признак катастрофического отсутствия хорошего тона; право слово, гораздо дешевле было бы привить им

безупречный вкус. Безопасность цивилизации зависит не от толщины её крепостных стен, а исключительно от утончённости мыслей тех, кто ужинает внутри.

Карта на стене вспыхнула единым, ровным золотисто-зелёным сиянием.

— Только представьте себе этот масштаб: целый миллиард человеческих душ, объединённых не парализующим страхом перед внешней угрозой, а великой, прекрасной общей мечтой! Мы создадим колоссальный общий рынок, где неисчерпаемые природные богатства Сибири будут безраздельно питать высокотехнологичные фабрики Баварии, а гениальные инженеры Берлина станут возводить монументальные мосты над Амуром. Наш Союз будет обладать самыми низкими в мире, практически символическими ценами на электроэнергию, нефть, природный газ, металлы и редкие минералы. Колоссальная экономическая эффективность от строгого планирования, дешёвых ресурсов и синергии миллиарда свободных граждан позволит нам творить подлинные чудеса. Мы сократим расходы на армию до абсолютного минимума. Рабочая неделя будет составлять всего пятнадцать часов, а заслуженная пенсия будет наступать в сорок лет. Более того, каждый молодой человек в возрасте восемнадцати лет вместе с паспортом гражданина будет получать от государства в полную собственность и абсолютно бесплатно благоустроенную квартиру, загородную дачу и личный автомобиль. Не в кабальный, пожизненный кредит, господа, а в дар — безвозмездно! Разумеется, это будет подкреплено бесплатной медициной, высшим образованием и даже бесплатным общественным транспортом. Вы спросите меня, не пытаюсь ли я нарисовать вам банальный рай на земле? О нет, я далёк от религиозного мистицизма. Это всего лишь трезвая, разумная и математически выверенная организация человеческого общежития. Евразийский Союз станет подлинной симфонией великих народов, где каждый национальный голос будет звучать в безупречной гармонии с остальными.

На экране один за другим стали сменяться сияющие образы: счастливые молодые семьи в просторных, залитых солнцем квартирах, весёлый смех детей, лаборатории процветающих стартапов, футуристические мосты, скоростные магистрали и заводы, работающие с изяществом швейцарских часов.

Канцлер фон Берг удивлённо вскинул брови и издал короткий, нервный смешок.

— Иван Васильевич, — покачал он головой, — у нас сегодня что, вечер изысканных сказок братьев Гримм? Пятнадцатичасовая рабочая неделя, бесплатные автомобили восемнадцатилетним, пенсия в сорок лет... Поймите, мой суровый немецкий реализм органически не способен верить в подобные прекраснодушные утопии. Это противоречит всем законам классической политэкономии!

Семипалин ответил ему долгим, уверенным взглядом, выдержав театральную паузу.

— Я ни единой секунды не фантазирую, канцлер, — отчеканил он. — Я оперирую исключительно жёсткими, многократно проверенными экономическими данными. Наш проект — это, если хотите, тоже своего рода План Маршалла, но с одним фундаментальным отличием: в нём нет двойного дна, нет скрытых ловушек, и он ни в малейшей степени не ущемляет ваш национальный суверенитет. Это грандиозный, беспрецедентный инвестиционный пакет, предназначенный для объединённой Германии и для всех тех государств, которые найдут в себе мудрость присоединиться к нашему Союзу. И я абсолютно убеждён, что очень скоро у наших дверей выстроится очередь из желающих. В самых общих чертах этот экономический фундамент выглядит следующим образом.

На экране одна за другой начали появляться строгие строчки тезисов.

— Первое: так называемый «газовый дисконт». Это колоссальная, прямая субсидия вашей тяжёлой промышленности — металлургии, химии, машиностроению — через установление сверхнизких, фиксированных цен на сибирскую нефть и газ. Второе: совместные инфраструктурные мегапроекты. Мы проложим новые, невиданные по мощности газопроводы и нефтепроводы, полностью модернизируем всю транспортную и железнодорожную сеть между

нашими странами. Инвестировав в единую газотранспортную систему, мы создадим крупнейшую в мире, неуязвимую сеть магистральных газопроводов с гарантией бесперебойной прокачки на тридцать лет вперёд.

Семипалин увлечённо шагнул к экрану, на котором появилось трёхмерное изображение сложнейшего инженерного комплекса.

— Кроме того, наши учёные в России уже завершают реализацию революционной технологической платформы в атомной энергетике. Мы создаём практически замкнутый ядерный топливный цикл, в котором энергетический потенциал урана будет использоваться на фантастические девяносто пять процентов, в то время как во всём остальном мире этот показатель едва достигает жалких двух процентов. Это абсолютный, недостижимый триумф в мировой атомной отрасли! Благодаря этому наши страны получают самую дешёвую, практически бесплатную электроэнергию, причём без малейшего ущерба для экологии. Наш континент навсегда забудет о смоге и угольной гари.

Экран послушно демонстрировал белоснежные, футуристические атомные станции, инженеров в безупречных медицинских халатах за пультами управления, светлые, чистые города, по улицам которых бесшумно скользили электромобили, изящные трамваи и скоростные поезда.

— Далее, — продолжал Семипалин, и его голос уносил слушателей вглубь экономических расчётов, — мы закладываем колоссальные образовательные и социальные гранты в размере четырёх триллионов долларов. Они будут распределены через систему субсидий, бесплатного жилья и беспроцентного развития семейного бизнеса. То есть мы готовы одновременно инвестировать в наше общее будущее в десятки раз больше, чем американцы вложили во всю послевоенную Европу. Я прекрасно понимаю ваш скептицизм, господа. Но я обязан признаться: весь последний год я провёл не в президиуме, а в тишине библиотеки, глубоко изучая философию, антропологию, социальную психологию и макроэкономику. Лучшие экономические умы нашей страны провели эти расчёты. Здесь нет никакой магии, никаких мистических чудес — исключительно трезвая, разумная организация ресурсов.

На экране замелькали страницы архивных документов, формулы, графики и сложные многомерные диаграммы, подтверждающие каждое слово оратора.

— Ещё в далёком 1930 году великий экономист Джон Мейнард Кейнс в своей знаменитой статье предсказал, что к концу двадцатого века стремительный технологический прогресс позволит развитым странам безболезненно перейти на пятнадцатичасовую рабочую неделю. И у нас есть все основания утверждать, что Кейнс был абсолютно прав. В нашей стране уже сегодня функционируют экспериментальные заводы-автоматы, где весь цикл производства от начала и до конца выполняют роботы, а вместо тысяч изнурённых рабочих в цеху присутствуют лишь несколько квалифицированных операторов для ленивого наблюдения и контроля. Подумайте, до чего дошёл человеческий прогресс! Современные технологии во всех сферах стремительно высвобождают человека от проклятия рутинного, отупляющего труда. И наконец, объединив континент, мы сможем безболезненно сократить наши военные расходы до минимума, что сэкономит нам сотни триллионов в год. Посудите сами: ну кто в здравом уме решится напасть на единое государство протяжённостью в двенадцать тысяч километров, обладающее ядерным щитом? Даже голодный лев никогда не осмелится напасть на взрослого слона.

Эрих Шталь задумчиво потёр подбородок, его взгляд оставался настороженным.

— Допустим, — медленно произнёс он, — ваши экономические выкладки безупречны. Допустим, цифры сходятся, и роботы действительно заменят рабочих. Но скажите мне, Иван Васильевич, задумывались ли вы о неизбежных психологических и социальных последствиях этой сытой утопии? Если обыватель получит в своё распоряжение бездонное количество свободного времени и колоссальное изобилие материальных благ, он неизбежно погрязнет в самом пошлом гедонизме, в низменных телесных страстях и духовной лени. Извечный труд,

суровые общественные запреты и разумные ограничения являются величайшим благом для человечества, ибо только они способны обуздать подсознательное стремление человека к хаосу и саморазрушению. Оставьте человека без надсмотрщика и работы — и он превратится в животное.

Семипалин спокойно выслушал тираду Шталя, и на его губах заиграла лёгкая, утончённая улыбка.

— Разумеется, Эрих, мне прекрасно знаком этот консервативный страх, — мягко ответил он. — Наша коммунистическая партия десятилетиями руководствовалась именно этой логикой, усердно создавая для советских граждан искусственные трудности и ограничения. Мы заставляли людей трудиться на заводах гораздо дольше объективной экономической необходимости; мы сознательно строили тесные, крошечные квартиры; выделяли под дачи строго по шесть соток земли, чтобы человек не превратился в независимого буржуа; и мы умышленно поддерживали в магазинах перманентный дефицит товаров, ограничивая потребление лишь самым необходимым. Но согласитесь, это тупиковый, глубоко порочный путь. Внешние ограничения всегда работают в обе стороны, и в этом их главная трагедия. Если вы тотально ограничиваете человека снаружи, чтобы он не совершил ничего дурного, вы одновременно и навсегда лишаете его возможности совершить что-то подлинно великое и доброе. Нам нужна принципиально иная, тонкая система внутренних сдержек и противовесов. И кроме того, давайте будем честны: в этой затянувшейся Холодной войне победит вовсе не тот, у кого окажется больше танков и ядерных боеголовок, а та сторона, которая сумеет предложить своему народу по-настоящему привлекательную, глубокую жизнь и осязаемый образ светлого будущего не в скучных передовицах газет, а здесь и сейчас, на уровне ежедневного бытия.

Канцлер фон Берг, явно заинтригованный ходом мысли советского лидера, покачал головой:

— Всё это звучит невероятно заманчиво, Иван Васильевич. Но скажите мне, как вы собираетесь соединить в одном государственном пространстве органически несовместимые вещи? Как примирить безудержный капитализм и строгий социализм, искреннюю религию и ваш воинствующий атеизм? Вы — убеждённые коммунисты и безбожники, а я — потомственный капиталист и ревностный католик! Наш союз кажется противоестественным.

Семипалин посмотрел на канцлера со спокойной умудрённостью философа.

— Тот же Джон Мейнард Кейнс, — заметил он, — как-то обронил почти гениальную фразу: «Капитализм — чудесный и исполнительный слуга, но совершенно ужасный и безжалостный хозяин». Социализм, в свою очередь, — благороднейшая цель, но слишком часто невероятно жестокий инструмент. Идея справедливости бесконечно привлекательна для ума; методы её практического воплощения, увы, нередко порождали лишь новые формы подавления. Чистый социализм слишком часто производит равенство в бедности. Чистый капитализм создаёт колоссальное богатство, но одновременно и чудовищное неравенство. Наша задача куда труднее и потому достойнее: соединить лучшее из обеих систем. Построить социализм с человеческим лицом и капитализм с чистой совестью.

Семипалин заговорщически понизил голос, делая шаг ближе к гостям:

— Я открою вам великую государственную тайну, господа. Совсем скоро, четырнадцатого марта, Внеочередной Съезд народных депутатов СССР официально отменит пресловутую шестую статью Конституции, которая провозглашает Коммунистическую партию «руководящей и направляющей силой советского общества». Это будет означать юридическое, окончательное прекращение тотального партийного контроля над государственным аппаратом и полную легализацию подлинной многопартийности. У нас с вами будет абсолютно идентичная, прозрачная политическая система, и в этом аспекте для нашего великого объединения больше не существует никаких препятствий. То же самое я могу с полной ответственностью заявить и в отношении религии: отныне коммунисты-атеисты больше никогда не будут монопольно

определять духовную и идеологическую жизнь страны, и всякая дискриминация по религиозному признаку будет караться по всей строгости закона.

Он прошёлся вдоль стола, задумчиво разглядывая оплывающие свечи.

— Однако вопрос о религии гораздо глубже и тоньше, он всегда требует предельной интеллектуальной честности. Мы обязаны чётко разделять индивидуальные, сакральные духовные практики человека и жёсткие, властные религиозные институты. Наивная мысль о том, что религия является сугубо личным выбором гражданина и должна быть наглухо отделена от политики, впервые зародилась лишь в атеистических или глубоко секулярных государствах, где искренне верующие люди оказались в явном меньшинстве. В традиционных же обществах религиозные институты, государственная политика, право и социальное устройство неизбежно сливались в единый, неделимый монолит. Метафорически на это веками указывал наш двуглавый орёл — священный герб Византии и России. Этот сакральный символ Древнего Востока, возникший в Малой Азии более четырёх тысяч лет назад, наглядно демонстрировал миру, что в государстве светская и духовная власть соединены в неразрывной, великой симфонии, а верховный правитель выступает одновременно и главой земного государства, и земным покровителем господствующей Церкви. Так было в Древнем Египте, в Месопотамии, в Греции и, разумеется, в Риме, где каждый император официально носил титул Верховного Жреца — Pontifex Maximus. Константин Великий без тени смущения именовал себя «епископом внешних дел Церкви». Поэтому две головы нашего орла — это вовсе не два независимых, враждующих центра силы, а два аспекта единой, неделимой сакральной власти.

Семипалин остановился у карты, устремив взгляд вглубь веков.

— В античном мире религия, политика, право, общественная мораль и даже экономика представляли собой абсолютное единое целое. Религия являлась высшей формой политической организации, а политика — сакральным, земным выражением космического, божественного порядка. Вспомните, ведь древний иудаизм возник именно как теократический, национально-государственный проект, где религиозный, священный язык служил идеальной формой легитимации жёсткой политической экспансии и этнической консолидации. Ветхий Завет — это, если угодно, великий политический контракт, облечённый в безупречную сакральную форму. Почти любая древняя религия — это всего лишь специфический язык, на котором конкретное общество описывает и оправдывает свою текущую политическую реальность. И только христианство впервые в истории радикально, безжалостно разорвало это тождество. Христос совершил величайшую революцию, переведя вопрос спасения в сугубо экзистенциальное, внутреннее измерение человеческой души: «Царство Моё не от мира сего». В самом генетическом коде христианства было заложено революционное разделение сакрального и политического. Это был самый радикальный поворот в духовной истории человечества! Но что произошло потом? Великая Византия не удержалась на этой высоте и снова попыталась синтезировать эти два измерения в своей соблазнительной концепции симфонии властей. Как только христианская Церковь получила в свои руки реальную земную власть, она мгновенно начала мыслить сугубо политическими, имперскими категориями и послушно вернулась к старой ветхозаветной логике. Началась стремительная сакрализация земной империи, возвращение к идее священного государства, где любая религиозная ересь тут же приравнивалась к самому тяжкому политическому преступлению против короны. Христианство, которое рождалось как великая религия абсолютного внутреннего освобождения, превратилось в жёсткую идеологию тотального господства, просто под новым, сияющим знаменем. Радикальная, пугающая свобода Евангелия оказалась слишком невыносимым бременем для слабого человека, и её поспешили заменить понятным внешним законом, суровым институтом, государственным принуждением и властью.

Семипалин грустно вздохнул, и его взгляд обратился к экрану, где вновь заскользили схемы государственных структур.

— Точно так же и в наших атеистических государствах двадцатого века: правители всегда начинали свои революции с громогласных, опьяняющих лозунгов о свободе, равенстве и всеобщем братстве, а в конечном итоге неизменно приходили к удушающему господству партийной номенклатуры, жестокому угнетению и серому тоталитаризму. И первопричина этой трагедии кроется вовсе не в несовершенстве политических институтов или в порочности конкретной идеологии; она кроется в самой неизменной природе человека. Обыватель панически боится подлинной свободы. Он подсознательно ищет жёсткий порядок, умоляет о гарантиях и страстно стремится к тотальному контролю над ближним. Любые социальные системы по закону самосохранения всегда стремятся к стопроцентной воспроизводимости, предсказуемости, управляемости и нормированию. Именно поэтому в любых традиционных государствах с такой неизбежностью вырастают эти унылые, подавляющие пирамиды власти.

Он облокотился на спинку кресла, глядя на притихших собеседников.

— На первый взгляд, такая система, которая усердно поощряет «правильное», лояльное поведение и жестоко наказывает за малейшие нарушения, кажется весьма эффективной и долговечной. Но если мы дадим себе труд задуматься, в ней обнаружится критическая, смертельная уязвимость. По своей сути это не общество, а методика цирковой дрессировки. В цирке медведей весьма успешно учат ездить на велосипеде проверенным методом кнута и пряника. Но как только этот несчастный медведь окажется на свободе, в своей естественной дикой среде, где рядом не будет грозного надсмотрщика с хлыстом и сахаром, он никогда в жизни больше не сядет на этот велосипед — ибо это глубоко чуждо его животной природе. Точно так же происходит и с любым человеческим поведением, навязанным исключительно извне.

На экране появилось изображение современных китайских мегаполисов, опутанных миллиардами блестящих линз видеокамер.

— Особого и пристального внимания заслуживает пример современного Китая, где государственный контроль уже сегодня стремительно переходит на уровень абсолютного «цифрового паноптикума». Это далеко не просто экономическая модель, это пугающая попытка создать идеально послушное, стерильное общество с помощью бездушных математических алгоритмов. Суть их системы «социального рейтинга» гениальна и проста: каждое мельчайшее действие гражданина мгновенно оцифровывается. Смартфоны и миллионы всевидящих камер следят за людьми двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Человек, неосторожно совершивший проступок и попавший в чёрный список с низким рейтингом, мгновенно сталкивается с так называемой «мягкой смертью» внутри социума. Ему блокируют счета, не продают билеты на поезда, лишают работы и превращают в невидимого изгоя. Но вдумайтесь: если классическое рабство древности имело власть лишь над бранным телом человека через прямое физическое насилие и животный страх, то это новое, изящное цифровое рабство становится формой тотального, абсолютного контроля через удовольствие, комфорт и технологическую зависимость. Это принципиально новая, страшная модель: тотальный контроль через дофамин. Человек становится абсолютно управляемым через манипуляцию его вниманием, полностью предсказуемым через анализ его больших данных и идеально оптимизируемым через алгоритмы.

Семипалин чеканным шагом вернулся к центру зала:

— Однако у любого мыслящего человека неизбежно возникает фундаментальный этический вопрос: а можно ли вообще именовать добродетелью то действие, которое совершается человеком исключительно под прицелом видеокамеры и под страхом немедленного снижения баллов? Дело в том, что подавленные, запертые деструктивные желания внутри человеческой психики никуда не исчезают от внешнего цифрового принуждения. Они лишь сжимаются, подобно колоссальной стальной пружине, и до поры до времени прячутся в самых тёмных тайных подвалах человеческого подсознания. Теперь включите ваше воображение и представьте себе, что в результате масштабной техногенной аварии, разрушительного землетрясения или

хитроумного компьютерного вируса в один прекрасный миг все эти миллионы камер наблюдения внезапно отключатся, а серверы системы социального рейтинга превратятся в груды бесполезного железа. Как только эти дрессированные люди осознают, что за ними больше никто не следит и за «неправильное» поведение не последует немедленного наказания, сжатые пружины их деструктивных, звериных желаний мгновенно распрямятся. Суммарная энергия этого ментального взрыва в одно мгновение разнесёт общество в щепки. Наступит первобытный хаос, кошмарная война всех против всех.

Его голос зазвучал с глубоким драматизмом:

— Социальный рейтинг в Китае — это не просто политика, это искусственная, суррогатная замена великого феномена доверия. В западном мире общественное доверие веками базировалось на незыблемом праве и личной репутации; в традиционном мире оно держалось на авторитете общины и семьи. В Китае же его цинично делегировали бездушному алгоритму. И если этот алгоритм исчезнет, у людей не останется абсолютно никаких внутренних тормозов, ибо их годами приучали не к совести, а к банальному бухгалтерскому расчёту баллов. Когда правила жизни навязаны человеку исключительно извне страхом наказания, его внутренняя мораль неизбежно атрофируется за ненужностью. Как только надсмотрщик покидает цех, дрессированный человек чаще всего пускается во все тяжкие, поскольку у него напрочь отсутствует навык самостоятельного, мучительного этического выбора. Если человек физически или технически лишён возможности выбрать зло, то его автоматический выбор добра не имеет никакой моральной ценности — это всего лишь безупречный программный код, функция робота. Истинная любовь и подлинная святость метафизически возможны только там и тогда, где существует реальный, страшный риск предательства и глубокого падения. Именно поэтому Всевышний допускает существование зла в нашем мире — как абсолютное, необходимое условие существования подлинной человеческой свободы.

Семипалин горько улыбнулся, глядя на застывших немецких гостей.

— Китай отчаянно пытается построить безопасный, предсказуемый Рай на земле, умышленно исключив из своего уравнения человеческий грех — то есть само священное право человека на ошибку. Но в этой стерильной системе принципиально нет места для великого акта покаяния: если ты оступился, твой рейтинг падает автоматически, бездушно фиксируя факт. Эта система не умеет прощать, она лишь калькулирует. И точно так же в ней невозможен подлинный человеческий подвиг: если гражданин переводит старика через дорогу ради получения заветных баллов, это не милосердие, господа, это всего лишь коммерческая транзакция. По сути, перед нами рождается «святость робота». Робот опасен не тогда, когда начинает мыслить. Он опасен тогда, когда человек перестаёт это делать. В Китае полным ходом создаётся общество так называемых функциональных праведников, которые ведут себя безупречно прилично, но их сердца при этом могут быть до краёв полны первобытной ненависти и зависти — просто эта ненависть экономически невыгодна в текущей версии государственной прошивки. Трагедия любой диктатуры — будь то жёсткая партийная у нас в СССР или изящная цифровая в Китае — заключается в том, что она упрямо пытается подменить глубокое внутреннее преобразование человеческой души внешним, насильственным форматированием. Но вся история учит нас, что как только система контроля даёт малейший сбой, эта надрессированная добродетель мгновенно рассыпается в прах, потому что она не была усвоена и выстрадана душой; она являлась лишь временной, трусливой стратегией выживания.

Он перевёл дыхание и подошёл к столу, пригубив остывший чай.

— Вы спросите меня, почему я так много и подробно говорю об этом далёком Китае? Да потому, господа, что современные западные правительства уже сегодня с тайной, глубокой завистью смотрят на эти успехи Пекина и изо всех сил пытаются ему подражать. Уже сейчас ваши хваленые западные соцсети начинают стремительно напоминать «лайт-версию» того самого китайского паноптикума. Под благовидным, святым предлогом борьбы с международ-

ным терроризмом или защиты невинных детей в Европейском Союзе и в США принимаются драконовские законы, которые фактически обязывают частные мессенджеры тайно сканировать зашифрованные сообщения граждан. Это окончательный, трагический конец великой эпохи приватности «один на один». Более того, если личное мнение гражданина посмеет не совпасть с текущей «генеральной линией» ваших либеральных элит, умные алгоритмы не станут грубо удалять его посты — зачем им создавать мучеников свободы? Они поступят гораздо изящнее: они просто незаметно перестанут показывать его публикации другим пользователям. Он будет продолжать говорить в абсолютную пустоту. Это называется подлым термином «теневой бан» — Shadowbanning. На Западе, точно так же, как и на Востоке, на непокорных людей уже начинают оказывать жесточайшее давление через финансовую систему. Мы уже видим примеры, когда уважаемые банки в одностороннем порядке закрывают счета гражданам исключительно из-за их политических взглядов или неосторожных высказываний. Если человек посмел заявить что-то, что в корне противоречит текущей идеологической повестке — даже если это было сказано десять лет назад в юношеском запале, — его подвергают тотальной общественной «отмене». Он может в одночасье потерять работу, контракты, рукопожатность и все социальные связи. Власть предпочитает подчинять людей алгоритму, чем доверять судьбу человечества человеческому суждению. Алгоритм даёт утешительную иллюзию объективности: он применяет правила без жалости, учёта контекста, прощения или сомнений. Человеческое суждение, напротив, требует сопереживания, готовности делать исключения, морального мужества и опасного искусства видеть в человеке личность там, где система видит лишь дело. Именно поэтому бюрократическая и авторитарная власть доверяет машине больше, чем человеческой душе.

Семипалин скрестил руки на груди, его голос вибрировал от искреннего возмущения:

— Очевидна всемирная, пугающая тенденция на принудительное формирование этой самой «святости робота». Люди панически боятся высказывать своё искреннее, глубокое мнение; они послушно транслируют чужие, одобренные сверху лозунги исключительно ради того, чтобы выжить социально. Это жалкая, убогая имитация добродетели, рождённая трусливым страхом исключения из стада. Таким образом, и Западная, и Восточная системы прямо сейчас совершают самый страшный, непростительный грех против самой человеческой природы. Они пытаются сделать человека искусственно безопасным, полностью лишив его священного права на ошибку, на искреннее заблуждение и на мучительный внутренний поиск истины. Когда бездушный алгоритм или цензор в министерстве решает за вас, что есть истина, ваша личная, персональная ответственность за выбор добра полностью исчезает. А без ответственности нет и не может быть личности.

Он мягко улыбнулся, обращаясь к фон Бергу:

— Как гениально писал ваш любимый Оскар Уайльд: «Личность — это вещь глубоко загадочная. Человека нельзя и невозможно оценивать исключительно по его внешним поступкам. Он может свято соблюдать абсолютно все земные законы и при этом оставаться законченным негодяем. Он может регулярно преступать закон и всё же быть прекрасным в своей основе. Он может быть дурным, никогда в жизни не совершив ничего дурного. Он может согрешить перед обществом, и всё же именно через этот грех впервые осознать своё истинное, божественное совершенство».

Семипалин тяжело опустился на край стола, и его голос упал до доверительного шёпота:

— То, что мы наблюдаем сегодня по всему миру, — это изощрённое, страшное насилие над человеческой природой. На наших глазах рождается глобальная система, где условные хозяева великой фермы хотят лишь одного: чтобы их человеческие овцы были всегда сыты, спокойны, вовремя пострижены и никогда, ни при каких обстоятельствах не выходили за установленные флажки. Но если завтра в результате банального технического сбоя эти алгоритмы контроля на мгновение перестанут наказывать за «неправильное мнение», мы с ужасом уви-

дим, насколько хрупким, фальшивым и уродливым был этот искусственный социальный консенсус. Мы на всех парах движемся к глобальной антропологической катастрофе. Человек как уникальный космический феномен попросту отменяется за ненадобностью. На него смотрят исключительно как на безликую экономическую функцию. Но ведь современные роботы, оснащённые искусственным интеллектом, уже во многих отношениях превосходят живых людей по функциональности и эффективности! И с холодной, прагматичной точки зрения правящих мировых элит будет вполне логично и чрезвычайно желательно в самом ближайшем будущем радикально, в разы сократить население нашей планеты. Зачем кормить миллиарды мыслящих и потенциально опасных людей, если их можно безболезненно заменить послушными, предсказуемыми роботами, которые будут действовать строго в рамках заданной прошивки и никогда не преподнесут своим хозяевам неприятных сюрпризов?

Эрих Шталь, заворожённый этой мрачной картиной, подался вперёд:

— Но существует ли вообще в природе хоть какая-то вменяемая альтернатива этому кошмару? Поймите меня правильно, я всей душой ратую за общественный порядок и стабильность, а надёжный порядок в моем понимании способны обеспечить только бдительная полиция и сильные спецслужбы. Как построить государство без них?

Семипалин понимающе кивнул.

— Я ни в коей мере не отрицаю практическую необходимость полиции и спецслужб на определённых, кризисных этапах развития, Эрих. Однако я слишком хорошо и отчётливо сознаю глубинное несовершенство такой системы. Поймите: любая внешняя коррупция кажется человеку ужасным злом ровно до тех пор, пока он сам не примет в ней участия. Полицейские и агенты спецслужб — о, поверьте мне — вовсе не святые ангелы; они сотканы из той же плоти и крови и подвержены абсолютно тем же самым низменным порокам и соблазнам, что и все остальные рядовые граждане. Если обычных граждан будут тотально контролировать полицейские, то у меня к вам классический, извечный вопрос: а кто в таком случае будет контролировать самих полицейских? И кто, скажите на милость, будет контролировать тех, кому поручено контролировать контролирующих? И так далее, до полной потери смысла в этой бесконечной бюрократической цепочке. Это абсолютно неразрешимая, тупиковая проблема в рамках старой парадигмы власти.

Он встал и принялся размеренно шагать по залу.

— На самом деле этот великий вопрос о том, как ювелирно сбалансировать личную свободу гражданина и жёсткий общественный порядок, не превращая при этом процветающее государство в унылую тюрьму, мучает лучше умы человечества со времён Платона. Великий грек совершенно верно подметил, что в большинстве существующих государств правители относятся к своим подданным не иначе как корыстные пастухи к стаду овец. За красивой иллюзией заботы и пафосными речами о всеобщем благе элиты всегда прячут свои сугубо шкурные, эгоистические цели. Но если полная несвобода гарантированно превращает человека в послушного робота, то полная, ничем не ограниченная свобода в мире, где внутренний человек ещё бесконечно несовершенен, с такой же неизбежностью превращает общество в дикие, кроваваджные джунгли. И перед нами всегда стоял этот убогий выбор: либо «война всех против всех», либо всеильное, удушающее государство-Левиафан, которое силой усмиряет бунтующих. Главная, трагическая ошибка и Советского Союза, и Китая, и вашего нынешнего Запада заключается в том, что все они с упорством маньяков пытаются регулировать человека исключительно снаружи — страхом уголовного наказания, цифровым рейтингом или деньгами. Но как только этот внешний стимул по какой-то причине исчезает или ослабевает, вся грандиозная система мгновенно рушится, как картонный домик. Единственной истинной альтернативой является государство, которое полностью фокусирует свои усилия на возвращении внутреннего регулятора человека. В классической философии и в великой христианской традиции этот внутренний регулятор издревле зовётся Совестью и Добродетелью.

На экране в это время медленно поплыли кадры-сравнения: серые будни советских очередей, сверкающий, но холодный цифровой Китай, и гигантские западные мегаполисы с их бесконечными, уродливыми высотными домами-«человейниками». Камера безмолвно скользила по многолюдным улицам, фиксируя лица людей, тотально поглощённых своими гаджетами и технологиями, но лишённых главного — искры внутренней, духовной свободы.

— Идеальное, великое государство, — твёрдо произнёс Семипалин, — это вовсе не то государство, где на каждом углу стоит бдительный полицейский или висит умная видеокамера; это то государство, где человеку становится невыносимо стыдно совершить низменный поступок даже тогда, когда он абсолютно точно знает, что его никто и никогда не увидит. Истинная роскошь власти состоит вовсе не в способности запрещать. Гораздо труднее и благороднее устроить общество так, чтобы внутренняя совесть человека оказалась строже любого внешнего надзора. Ибо свобода без вкуса к добродетели — не освобождение, а лишь более утончённая форма подчинения собственным страстям. Вместо того чтобы выстраивать унижительную систему социального рейтинга — то есть заниматься банальной дрессировкой двуногих, — мы обязаны сделать главный акцент на глубоком этическом образовании и воспитании личности. Государство должно инвестировать миллиарды не в системы тотального распознавания лиц и контроля трафика, а в развитие критического мышления, философского взгляда на мир и личной моральной ответственности. Наша великая цель — чтобы каждый гражданин с детства осознавал, что зло деструктивно и разрушительно прежде всего для него самого, а не просто трепетал перед угрозой наказания.

Он поднял палец вверх, подчёркивая важность дефиниции:

— Подлинная свобода — это вовсе не отсутствие внешних ограничений, как думают подростки; свобода — это наличие осознанного, великого самоограничения. Апостол Павел как-то изрёк знаменитую фразу: «Всё мне позволительно, но не всё полезно». При всём моём уважении к апостолу, я обязан признать, что он выразился не вполне удачно, ибо это самый примитивный, сугубо биологический уровень сознания. Даже дикие животные в лесу абсолютно свободны делать всё, что им вздумается, но инстинктивно делают только то, что полезно для их выживания. Однако развитое человеческое сознание, помимо биологического, обладает ещё и сложнейшими социальным и экзистенциальным уровнями. Некоторые люди, увы, добровольно принимают в себя извращённые, деструктивные смыслы и начинают творить вещи, которые приносят страшный вред и им самим, и всему окружающему миру. Свобода, лишённая прочного морального, гранитного фундамента, неизбежно превращается в орудие стремительного саморазрушения. Великие христианские аскеты прошлого могли бы перефразировать мысль апостола Павла гораздо точнее и изящнее: «Всё мне позволительно, но далеко не всё мне вкусно».

— Вкусно? — удивлённо переспросил Шталь, наморщив лоб. — При чём здесь кулинария?

— В данном контексте, Эрих, слово «вкус» используется как великолепная, глубокая метафора, — пояснил Семипалин. — Имеется в виду, что духовно преображённый, эстетически развитый человек отторгает от себя всякое зло и порок просто потому, что оно ему органически неприятно, оно кажется ему невыносимо пошлым, безвкусным и неприятным блюдом. Он не притрагивается к нему не из страха перед тюрьмой, а из чувства брезгливости. И поэтому та великая альтернатива, о которой вы меня спрашиваете, — это наше «Человекоцентричное государство», которое априори глубоко доверяет своему гражданину. Вместо тотального контроля — абсолютная прозрачность самой власти. Вместо грубого принуждения — непрерываемый интеллектуальный авторитет и личный, вдохновляющий пример правителей. Да, я знаю, сегодня для вас это звучит как недостижимая, прекрасная мечта, но, возможно, именно к этому спасительному берегу и обязан привести нас этот затянувшийся, системный кризис всех миро-

вых институтов. Когда человечество окончательно устанет от удушающей тесноты этих цифровых ферм, оно неизбежно, с криком потянется к подлинности и духовной чистоте.

— Мне всё же не до конца понятна ваша метафора про «вкус», — настойчиво произнёс Шталь, покачивая головой. — У кого, а главное — каким образом этот изысканный вкус должен появляться? Кто его сформирует?

Семипалин резко повернулся к нему, и его голос в этот миг обрёл ту невероятную, завораживающую мощь, которая заставляла даже самых яростных оппонентов мгновенно замереть и затаить дыхание.

— О! Относительно этого фундаментального вопроса я разработал целую комплексную теорию, которую называю «Теорией духовного иммунитета». О существовании биологического иммунитета сегодня прекрасно осведомлён любой школьник — мы все знаем, что он бдительно защищает наш организм от смертоносных вирусов, болезнетворных бактерий и прочих опасных патогенов. Современные учёные продвинулись далеко вперёд в изучении этого феномена, хотя далеко не все его тайны ещё раскрыты. Так вот, любые деструктивные смыслы, уродливые идеи, извращённые внушения и пошлые мыслеформы мы можем с полным правом метафорически назвать ментальными вирусами и ментальными бактериями, поражающими сознание общества. И в этой системе координат мы обязаны ввести научно обоснованное понятие «духовного иммунитета», у которого обнаруживается колоссальное количество поразительных параллелей с его биологическим собратом.

Семипалин стал расхаживать по залу, жестикулируя с изяществом оратора:

— Вспомните, когда в середине нашего века учёные открыли пенициллин и первые антибиотики, в мире воцарилось всеобщее, безумное ликование. Обывателям казалось, что наконец-то найдена абсолютная панацея от большинства смертельных недугов. Но сегодня, спустя всего несколько десятилетий, мы с тревогой осознаем, что сильные антибиотики можно назначать больному лишь в самых крайних, ограниченных случаях и только после глубокого, тщательного обследования. Дело в том, что коварные бактерии проявили поразительную способность к мутации: они стремительно выработали устойчивость к лекарствам и от этого стали в тысячу раз более опасными и смертоносными. Точно так же устроен и мир человеческой психики. Если деструктивное, порочное поведение человека вы пытаетесь подавить исключительно грубыми, насильственными методами — тюрьмой, запретами, расстрелами, — то эти тёмные, разрушительные интенции внутри человеческого существа никуда не исчезают. Они лишь глубже прячутся, изощренно мутируют в темноте подсознания и лихорадочно ищут любого удобного случая, малейшей трещины в системе, чтобы с ещё большей яростью вырваться наружу. Разумеется, бывают критические ситуации, когда без сильных антибиотиков больной просто умрёт; и точно так же в государстве бывают моменты, когда без жёсткого, прямого насилия невозможно остановить преступника. Но стратегические, главные государственные инвестиции мы обязаны вкладывать не в производство «хлыстов», а в развитие этого самого «духовного иммунитета», дабы человеческая душа своими собственными, внутренними силами могла легко перебороть и отторгнуть любые деструктивные желания. Этому великому делу должно служить тотальное духовное воспитание человека через все великие виды подлинной культуры, через глубокое классическое образование и через священные духовные инициации. И когда мы вырастим такое поколение, господа, мы сможем безболезненно, за ненадобностью сократить штат полиции, количество тюрем и камер слежения на девяносто процентов! Сегодня же наше несчастное человечество живёт в состоянии перманентного, тяжелейшего аутоиммунного заболевания: мы тратим безумные триллионы долларов на борьбу с внешними симптомами — с преступностью, с террором, с пошлой жадностью, — но при этом упорно отказываемся лечить саму глубинную причину болезни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.